

Научная статья
УДК 82-3 + 82-6
doi: 10.17223/19986645/94/9

Авто(био/агио)графический нарратив как инструмент формирования персонального мифа о писателе «из народа»: случай Г.Д. Гребенщикова

Александр Юрьевич Горбенко¹

¹ *Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Красноярск, Россия, al_gorbenko@mail.ru*

Аннотация. В статье обсуждается итоговая книга Г.Д. Гребенщикова «Егоркина жизнь», ставшая важнейшей манифестацией его персонального мифа о писателе «из народа». В этой книге Гребенщиков использует ресурсы русской классической литературы («Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «автобиографические» трилогии Л.Н. Толстого и М. Горького), агиографии (прежде всего – Жития Сергия Радонежского) и автоагиографии (в первую очередь – Житие протопопа Аввакума), создавая сложно устроенный синтез автобиографической повести и (авто)агиобиографии.

Ключевые слова: Г.Д. Гребенщиков, «Егоркина жизнь», житнетворчество, автобиографический нарратив, автоагиографический нарратив, литература русской эмиграции

Для цитирования: Горбенко А.Ю. Авто(био/агио)графический нарратив как инструмент формирования персонального мифа о писателе «из народа»: случай Г.Д. Гребенщикова // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2025. № 94. С. 172–206. doi: 10.17223/19986645/94/9

Original article
doi: 10.17223/19986645/94/9

Auto(bio/hagio)graphic narrative as a tool of formation of a personal myth about a writer "of the people": The case of Georgii Grebenshchikov

Aleksandr Yu. Gorbenko¹

¹ *Krasnoyarsk State Pedagogical University, Krasnoyarsk, Russian Federation, al_gorbenko@mail.ru*

Abstract. The article discusses the mechanisms of synthesis of autobiographical and autohagiographical discourses in the text of the book *Egorka's Life* by Georgii Grebenshchikov. The subject of the study determined the range of materials used – Grebenshchikov's prose (*Egorka's Life*, *The Churaevs*) and the corpus of his ego-documents (primarily letters); works by Alexander Pushkin, Leo Tolstoy and Maxim Gorky; Russian (auto)hagiography (primarily the Life of St. Sergius of Radonezh and the Life of the Archpriest Avvakum); some archival documents. The

article aims to consider how autobiographical and autohagiographical elements of poetics correlate in *Egorka's Life* and to analyze the role that Grebenshchikov's final work played in the process of forming a myth about himself as a writer "of the people". We can trace the mechanisms and pragmatics of Grebenshchikov's work with samples of classical secular quasi-autobiographical prose (Tolstoy, Gorky) and, in particular, with the domestic (auto)hagiographical canon. The analysis led to a number of conclusions. Throughout his half-century literary career, Grebenshchikov systematically worked on constructing his own personal literary mythology. The most suitable field for such narrative operations was the array of his ego-documentary texts: the *autobiographical* texts are adjoined by epistolary and literary works containing the author's version of certain events of his biography. The book *Egorka's Life* can be considered as the apotheosis of this hard work. In the sense of poetics and life-creative pragmatics of *Egorka's Life*, the correlation of the elements of an autobiographical story and hagiographic autobiography in its text and the effect that arises from the synthesis of these genre models became central. In Russian culture, the genre tradition of hagiographic autobiography, to which Grebenshchikov's book gravitates, goes back to the lives of the Archpriest Avvakum, Epiphanius and Eleazar of Anzersky – the first autohagiographical works in the history of Russian culture. Grebenshchikov used almost all the topoi of the monk's life in *Egorka's Life*, fusing them with elements of other types of hagiographies. As a result, the writer created the figure of a person from the people – the peasant boy Egorka, destined for a special mission from his very birth, and with Egorka's help he ultimately formed a narrative, brought to its logical limit, about a writer "of the people" who overcame all of the numerous difficulties and joined the "light" of culture and – more specifically – literature, which became one of the key phenomena of the "undivine sacred" for Russian culture of the New Age. From the 1930s to the 1950s, Grebenshchikov turned from a *hagiobiographer* (in the book *Radonega*) into an *auto-hagiobiographer* (in *Egorka's Life*), which matches the general dynamics of the genre of hagiographic (auto)biography in the culture of the Russian diaspora.

Keywords: Georgii Grebenstchikov, "Egorka's Life", life-creating, autobiographical narrative, autohagiographic narrative, literature of Russian emigration

For citation: Gorbenko, A.Yu. (2025) Auto(bio/hagio)graphic narrative as a tool of formation of a personal myth about a writer "of the people": The case of Georgii Grebenshchikov. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 94. pp. 172–206. (In Russian). doi: 10.17223/19986645/94/9

Важная особенность литераторов-самоучек рубежа XIX–XX вв., по проницательному наблюдению А.И. Рейтблата, состояла в том, что они «обычно писали и публиковали автобиографии». Исследователь объясняет склонность таких авторов к созданию автобиографических текстов тем, что «[в]ыдающиеся люди с удачной судьбой чрезвычайно редко пишут мемуары; обычно берутся за перо те из них, кто считает себя ущемленным, недооцененным. Оказавшись не у дел, они стремятся обелить себя, прояснить мотивы своих поступков, описать совершенную по отношению к ним несправедливость» [1. С. 188].

Случай Г.Д. Гребенщикова (1883(?)–1964), сибирского писателя-автодидакта¹, эмигрировавшего из России в 1920 г. и прожившего вторую поло-

¹ О Гребенщикове как автодидакте см. прежде всего: [2, 3].

вину жизни (1924–1964) в Америке, хорошо вписывается в отмеченную Рейтблатом закономерность. На протяжении всей своей полувековой литературной карьеры (середина 1900 – середина 1950-х гг.) Гребенщиков последовательно конструировал собственную литературную биографию и – шире – персональную писательскую мифологию¹. Писатель периодически прибегал к «переписыванию» и реинтерпретации отдельных мотивов и эпизодов своего автобиографического дискурса, неустанно ища оптимальную версию персонального мифа, во многом именно для того чтобы переосмыслить собственное место как литератора, культуртрегера и практического деятеля.

Наиболее подходящим полем для таких нарративных операций стал массив эго-документальных текстов Гребенщикова: к собственно «автобиографическим» здесь примыкают эпистолярные и художественные сочинения, содержащие авторскую версию тех или иных событий его биографии. Апофеозом этой напряженной работы можно с полным основанием считать книгу «Егоркина жизнь».

Эта книга впервые увидела свет в 1966 г., через два года после смерти автора, в «Славянской типографии» (Southbury, Connecticut), в 1920-е гг. организованной Гребенщиковым в Чураевке и прежде носившей название «Алатас». Еще в середине 1950-х гг. он пробовал опубликовать «Егоркину жизнь». В письме к И.И. Сикорскому от 10 января 1953 г., сообщив о том, что «только что закончил <...> книгу под заглавием “Егоркина жизнь”», писатель делился планами ее публикации, в частности, в авторском переводе на английский: «Издательство имени Чехова как будто заинтересовано, но будущий, то есть этот год, у них уже заполнен. Поэтому я хочу использовать этот срок и сам переписать книгу по-английски» [5. С. 163]². Особую же активность писатель проявил в 1956 г. 25 января этого года он написал рекомендованной ему редактором «Нового русского слова» переводчице Лоре Сегал, что «Егоркина жизнь» должна быть представлена под его именем, а не как перевод: «...я сам не только пишу по-английски, но и преподаю в колледже изящную словесность на английском языке. Но мой английский ЛИТЕРАТУРНЫЙ стиль, конечно, ближе к Нижегородскому и требует хорошей полировки» [7. Ед. хр. 519/61. Л. 1]. Далее, предварительно попытавшись снять неминуемо возникавшую неловкость с помощью автоиронической «грибоедовской» аллюзии («ближе к Нижегородскому»), Гребенщиков перешел к условиям, спрашивая, какой будет цена: «а) за Ваш самостоятельный перевод с перепиской в двух экземплярах и б) за переписку моего текста с Вашей полировкой» [7. Ед. хр. 519/61. Л. 1]. Несколько месяцев спустя, в письме к литературному редактору «Издательства имени Чехова» В.А. Александровой от 13 июня 1956 г. он «предлага[л] <...> срочно (к октябрю 1956 г.!) напечатать <...> “Егоркин[у] жизнь”, причем часть расходов

¹ Подробнее об этом см.: [4].

² Гребенщиков так и не перевел «Егоркину жизнь» на английский язык целиком; в его архиве сохранились автопереводы отдельных фрагментов книги. Анализ этих автопереводов см.: [6. С. 69–79].

<...> собирался возместить сам» [8. С. 661]. Однако эти усилия остались безуспешными, поскольку именно в это время начинался процесс ликвидации «Издательства имени Чехова»¹.

«Егоркина жизнь», жанр которой автор определял как автобиографическую повесть², изначально задумывалась с идеологическим заданием – в качестве «крестьянской автобиографии» [2. С. 33–43]. Сложность жанровой природы этой книги, писавшейся около тридцати лет и, как уже было сказано, ставшей последней и наиболее детальной манифестацией писательского мифа³, не раз останавливала внимание исследователей. Так, посвятившая «Егоркиной жизни» несколько работ Т.Г. Черняева считала, что «замысел автобиографического повествования Гребенщикова на самых ранних этапах его формирования тяготеет к <...> областническому роману» [10. С. 90]⁴. В качестве автобиографической повести рассматривает «Егоркину жизнь» и Т.А. Полякова (см.: [12, 13]). Другой современный исследователь относит гребенщиковскую книгу к автофикциональному дискурсу [14]⁵.

Писательские же автокомментарии так или иначе сводятся к более или менее полному отождествлению себя с героем. В письме к своему сибирскому другу И.Г. Савченко от 1 мая 1945 г. Гребенщиков сообщал: «Написал ряд очерков из жизни “Егорки”. Конечно, о своем детстве. И, дивное дело, что я не большевик, а эмигрант, и, когда прочтешь “Первую копейку”, то представь себе картину: Егорка через пятьдесят лет своего пути в торжественной обстановке» [15. Т. 6. С. 435]⁶. Через несколько лет в письме к тому же адресату (от 18 ноября 1952 г.) он характеризовал «Егоркину жизнь» уже как «автобиографию, написанную в третьем лице» [16. С. 142]. А спустя еще

¹ Подробнее об этом см.: [8].

² Любопытно, что именно под таким названием – «Автобиографическая повесть» – книга была переиздана Т.Г. Черняевой в 2004 г. См.: [9]. Это издание стало первой публикацией «Егоркиной жизни» в России.

³ Ср. замечание Т.Г. Черняевой: «Актуальность для Гребенщикова автобиографического замысла, в общих чертах оформившегося к 1915 г., объясняется, по крайней мере, двумя причинами: глубоко личным, внутренним стремлением к самоопределению, с одной стороны, и желанием вступить в литературную полемику – с другой» [2. С. 33]. Исследовательница справедливо предлагает рассматривать знаменитое «автобиографическое» письмо Гребенщикова к Л.Н. Клейнборту и очерк «В детстве» (1915) «как конспективное изложение» «Егоркиной жизни» [2. С. 8].

⁴ Исследовательница опирается на бахтинское определение областнического романа. См.: [11. С. 476].

⁵ Не имея возможности подробно обсуждать здесь эту работу, отметим ряд содержащихся в ней довольно существенных, на наш взгляд, противоречий и недочетов. Главный из них состоит в том, что О.А. Ковалев, «веря на слово» прозаику, в самом начале статьи постулирует «гождество авторского “я” и героя повести <...>» [14. С. 142], допуская тем самым классическую нарратологическую ошибку. Любопытно при этом, что в конце статьи автор, ссылаясь на В. Шмида, уже заявляет, что «проблема идентичности повествующего и повествуемого “я” в автобиографической прозе хорошо известна в нарратологии <...>» [14. С. 149].

⁶ Далее ссылки на это издание даются в тексте в круглых скобках с указанием тома и страницы.

два месяца, в письме к И.И. Сикорскому от 10 января 1953 г., Гребенщиков оповещал знаменитого авиаконструктора и своего друга о том, что «...только что закончил о периоде своего детства книгу под заглавием “Егоркина жизнь”. Герой мой пишется в третьем лице, и ты будешь, надеюсь, удовлетворен подходом к сюжету» [5. С. 163].

Авторское послесловие к «Егоркиной жизни» начинается так: «Под именем Егорки здесь описаны, по силе разумея, детство, отрочество и начало юности пишущего эти строки, уже пожилого автора этой книги, который, конечно, не мог не упустить множество подробностей и даже, в ущерб себе, некоторыми подробностями загромоздил текст книги. Но все же есть еще отблески прошлого, не отраженные в воображаемом фильме этого повествования» (6, 292). Слово «послесловие» сопровождается сноской: «Ниже помещаются воспоминания автора, дополняющие повесть о Егоркиной жизни, отчасти составленные им для этой книги, а отчасти заимствованные из изданного ранее. Чтобы не нарушать единства повести, они помещены в виде послесловия. – Издательство “Славянская Типография”» (6, 292).

Спустя несколько лет в машинописи посвящения и издательского предисловия, датированных ноябрем 1956 г., книга была охарактеризована как «роман-хроника», в котором использованы «автобиографические данные об авторе», и было сказано, что Гребенщиков фигурирует в ней «под именем Егорки, который, однако, не является главным персонажем <...> а потому и изображается в *третьем лице*» [17. Ед. хр. 416/4. Л. 1]¹. В этом предисловии местоположение издательства «Алатас» указывалось следующим образом: «Русская деревня Чураевка, основанная “Егоркою” в 1925 году». Гребенщиков обвел слово «Егоркою» и вписал ниже от руки слово «автором» [17. Ед. хр. 416/4. Л. 1], восстанавливая тем самым стиравшуюся в машинописном тексте дистанцию между собою как конкретным автором² и протагонистом своей книги.

¹ В 1955 г. супруга писателя Т.Д. Гребенщикова в машинописи под названием «Вместо предисловия» также с самого начала уравнивала автора и заглавного героя (задавая, впрочем, некоторую дистанцию между ними с помощью кавычек, в которые она поместила имя «Егорка» – ср. аналогичный ход самого Гребенщикова, предпринятый в послесловии к «Егоркиной жизни»; исходя из обоих контекстов, можно предположить, что супруги не осознавали этого неизбежного в данной ситуации эффекта): «После описанных в этой книге приключений, жизнь “Егорки” предлагает ему следующие зигзаги испытаний его будущей судьбы <...>» [17. Ед. хр. 699/18. Л. 1]. Ср. в финале, суммирующем итоги «зигзагов испытаний»: «Таков “Егорка”, которого Чеховское Издательство, за “недостатком” фондов, не могло выпустить и который в Издательстве Песева предлагается на суд читателей в убеждении, что таких Егорок Россия создала не мало, но не каждому удалось с таким упорством и энтузиазмом достигать славы не для себя, а для той же Великой и непобедимой нашей Родины России» [17. Ед. хр. 699/18. Л. 7].

² Мы используем здесь понятие, предложенное В. Шмидом, считающим, что «конкретный автор» представляет собой «реальную, историческую личность, создателя произведения» – инстанцию, существующую автономно и независимо от этого произведения [18. С. 46].

Нам представляется, что центральным в плане поэтики и жизнетворческой прагматики «Егоркиной жизни», книги, которой свойственно описанное выше напряжение между инстанцией конкретного автора и создаваемого ею протагониста, является соотношение в тексте элементов автобиографической повести и житийной автобиографии и тот эффект, который возникает при синтезе этих жанровых моделей.

Создавая «Егоркину жизнь» на протяжении нескольких десятилетий, Гребенщиков привлекал самые разные агиографические и литературные образцы. Одним из важнейших источников книги стала трилогия Горького, ориентацию на которую исследовала Т.Г. Черняева (см. прежде всего: [2. С. 34–40]). По словам исследовательницы, «замысел Гребенщикова <...> в определенной степени был полемически противопоставлен» горьковской трилогии и «художественным биографиям тех писателей, которые “эксплуатировали” мрачные стороны жизни низших сословий», например, «Повести о днях моей жизни, моих радостях и злключениях» И. Вольнова [2. С. 34].

К этим наблюдениям можно добавить, что в жанрово-стилевом отношении горьковская трилогия послужила своего рода резервуаром, из которого Гребенщиков черпал материал, чтобы придать своей итоговой книге черты житийной автобиографии. Чтобы продемонстрировать потенциал сочинений Горького в этом отношении, приведем типологически сходный и принципиально важный пример. Е.А. Добренко, рассуждая о процессе агиографизации автобиографической трилогии Горького в экранизациях М.С. Донского, показал, что главным приемом режиссера стали монтажные стыки и переделки, выводящие скрыто присутствующую у Горького житийную фабулу из «латентного состояния», в результате чего «[о]тобранные сцены выстраиваются в новый, уже агиографический сюжет путем монтажа идеологем-блоков» [19. С. 214, 217]¹. Перед Горьким не стояло задачи создания собственной (авто)агиобиографии, для появления которой понадобилась фигура режиссера-«посредника». Гребенщиков же, поставив перед собой такую задачу, решал ее самостоятельно, но при этом с помощью принципов, схожих с теми, к которым прибегал Донской, а именно – тщательного подбора и монтажа мифологизированных фактов собственной биографии, репрезентируемых отчасти сквозь призму горьковской трилогии.

Гребенщikovская ориентация на писательскую мифологию Горького была в первую очередь обусловлена сходством биографических обстоятельств авторов: бедность, тяжелое детство, ранняя необходимость трудиться и т.д.² Помимо этого, горьковская трилогия не могла не быть близка или хотя бы крайне любопытна Гребенщикову в силу того, что она стала результатом

¹ Отметим, что название цитируемой – пятой – главы монографии Е.А. Добренко стало источником первой части заглавия нашей статьи.

² В науке довольно подробно описана парадигмальная для писателей-разночинцев начала XX в. роль фигуры Горького, «который становится русским писателем № 1 в первом десятилетии XX в. и уже этим фактом стимулирует других литераторов из низов повторить свой успех» [20. С. 29].

активной мифологизации Горьким своей биографии¹. Наконец, сибирский литератор описывал свои отношения с Горьким в терминах ученичества, именуя маститого литератора своим «первым учителем» и «первым литературным вождем» (4, 478). Экзотическая для своего времени в «большой» литературе репутация «пролетарского писателя», принесшая Горькому литературный и социальный успех², была, как показывают исследователи, важнейшим хронологически близким образцом, который Гребенщиков учитывал, работая над мифологией «крестьянского писателя»³.

При этом Гребенщиков, строго говоря, не принадлежал к крестьянскому сословию: его отец был горнорабочим, совмещавшим эту стезю с крестьянским трудом⁴, а мать – казачкой⁵. Несмотря на это, он регулярно и настойчиво идентифицировал себя как крестьянина. В 1915 г. в письме к литературному критику Л.Н. Клейнборгу Гребенщиков нашел вполне эзотерическую⁶ и принципиально неверифицируемую формулу, позволившую удачно разрешить формальные затруднения, с которыми он мог столкнуться в процессе социальной самоидентификации: «Собственно, отец крестьянин по духу, по положению он – горнорабочий» [27. С. 33]. Спустя пять лет литератор на короткое время изменил стратегию социальной самопрезентации, написав в «Автобиографической заметке 1922 года»: «<...> несмотря на свое пролетарское происхождение, я всей душой презираю ложь и хамство <...>» (3, 442). Вероятнее всего, эта автохарактеристика обусловлена двумя

¹ См. об этом статью Эндрю Барратта с выразительно-точным подзаголовком «The Lure of Myth and the Power of Fact»: [21].

² Как отмечал еще Б.М. Эйхенбаум, «успех Максима Горького вначале имел не столько литературный, сколько социальный характер. В русской литературе явился какой-то самовольный писатель, самоучка, не интеллигент, не земец и даже не разночинец. Важно было не столько то, что он писал о “босяках”, сколько то, что он сам жил в этой среде и из нее вышел. Важно было, что он видел, знал и умел делать то, чего русский писатель не видел, не знал и не умел делать» [22. С. 114]. «За его рассказами с самого начала стояла легенда об его жизни», – резюмирует Эйхенбаум [22. С. 114].

³ Специально об отношениях начинающего сибирского литератора с Горьким см.: [23, 24, 25. С. 6–40].

⁴ Ср. очерк «У Льва Толстого» (1925), где Гребенщиков приводит свой ответ на вопрос Толстого «Ну, а вы-то ведь из политических? <...> Или из чиновничьей среды?»: «Нет, я из горнорабочих, но мой отец теперь крестьянин» (4, 423). Двадцатью годами позднее, 22 мая 1946 г., в письме к К.М. Симонову Гребенщиков аттестовал себя как «сына алтайского рудокопа, знающего тернии нищеты и унижений детства и юности <...>» (6, 437). Ср. также слова рассказчика в «Егоркиной жизни»: «В крестьянском сословии Митрий (отец Егорки, чье имя совпадает с именем отца Гребенщикова. – А.Г.) не состоял. По паспорту он пишется – обыватель рудника Николаевского» (6, 22).

⁵ В 1926 г. в одном из «Писем с Помпеяга» Гребенщиков писал о ней так: «Мать моя, одна из семи дочерей простой вдовы-казачки, хотя и воспиталась в нужде, но была действительно нежная и хрупкая, малопригодная к тяжелому труду женщина, к тому же немножко грамотная, возвращенная на ковельных просторах Иртыша, мечтательница, бо-гомолица» (4, 305).

⁶ Об эзотеризме, присущем рассуждениям о «народе» и «народности» (прежде всего в национал-патриотических кругах), см.: [26. С. 105–145].

взаимосвязанными причинами. Во-первых, примером «пролетарского писателя» М. Горького, с которым Гребенщиков в 1922 г. еще продолжал эпистолярное общение¹. Во-вторых, регулярно декларируемым желанием автора «Чураевых» вернуться на родину, которую он покинул двумя годами ранее. Гребенщиков, внимательно следивший за событиями в России, не мог не понимать, что «самая желанная классовая идентичность в нэповской России – пролетарская» [29. С. 66]. Показательно, что впоследствии писатель больше не возвращался к теме своего «пролетарского» происхождения (как и то, что Гребенщиков, в отличие от Горького, не делал пролетариев героями своих произведений).

Итак, Гребенщиков сделал главным героем своей итоговой книги и собственным нарративным alter ego крестьянского мальчика. Однако для решения своих задач писатель не мог ограничиться этим ходом, поскольку ему требовалось не просто утверждение крестьянского субъекта, но его сакрализация. Поэтому он обратился к имеющемуся в репертуаре русской культуры богатейшему опыту.

Жанровая традиция житийной автобиографии, к образцам которой, наряду с обсуждавшимися образцами автобиографической повести, тяготеет книга Гребенщикова, в русской культуре восходит к житиям протопопа Аввакума, Епифания и Елеазара Анзерского – первым автоагиографическим сочинениям в истории русской культуры. Как замечает М.Б. Плюханова, «появление автоагиографических произведений не означало еще секуляризации объекта прославления» [30. С. 128], скорее, они знаменовали обратный феномен – автосакрализацию². Создатель автоагиографического текста не профанировал объект житийного прославления, а, наоборот, сакрализовал объекты, ранее являвшиеся профанными, – собственные личность и биографию³. По словам М.Б. Плюхановой, «автоагиография стала возможна и житие стало описывать человека не потому, что оно секуляризировалось, а потому, что человек был поднят над сферой профанного, в которой до сих пор преимущественно пребывал» [30. С. 128].

Трудно сказать, читал ли Гребенщиков, три века спустя решавший типологически сходную задачу автосакрализации, сочинения Епифания и Елеазара Анзерского. Однако он, безусловно, был хорошо знаком с житием протопопа Аввакума, впервые опубликованным в 1861 г., более того, высоко ценил Аввакума как писателя. К примеру, в 1925 г. Гребенщиков утверждал, что «святитель Аввакум <...> оставил самое лучшее литературное описание

¹ В особенности если учесть хорошо известное отношение Горького к крестьянству. Достаточно вспомнить его программную статью [28]. Здесь ненависть Горького к крестьянскому сословию сталкивается в очевидном конфликте с апологией крестьянства у Гребенщикова.

² Подробнее о феномене автосакрализации см.: [31].

³ Критику этой идеи М.Б. Плюхановой см.: [32. С. 23].

своего путешествия в Сибирь» [33. С. 43]¹. Вместе с тем Гребенщиков заимствовал у основоположника автобиографического дискурса в отечественной культуре и одного из создателей литературы Сибири Нового времени² не столько конкретные элементы поэтики, сколько сам конструктивный принцип соединения житийного и автобиографического начал, что несоизмеримо важнее.

Кроме трудов пионеров автобиографического жанра, автор «Егоркиной жизни» опирался также на сочинения более поздних литераторов, с самого начала своей книги встраивая ее в контекст «высокой» русской литературы XIX столетия. Так, в стихотворном посвящении содержатся вполне отчетливые отсылки к «Евгению Онегину»³, а в самом начале первой главы еще более эксплицитно обозначено следование модели толстовской трилогии: «Егоркина жизнь» – «биография <...> детства, отрочества и отчасти юности» (6, 9–10).

Важнее, однако, обратить внимание на значимое отличие «Егоркиной жизни» от ее классических источников. Очевидны различия, обусловленные социальными факторами. «Детство» Л.Н. Толстого, которое Э.Б. Вахтель справедливо рассматривал в качестве яркого образца специфически русской жанровой формы «псевдо-автобиографии» [36. Р. 15–36], – книга о детстве *дворянина, аристократа* («<...> Толстой изобрел русское дворянское отношение к детству» [36. Р. 57]), тогда как «Егоркина жизнь» – рассказ о *крестьянском* детстве. Кроме того, как показал Вахтель, трилогия Толстого стояла у истоков мифа о счастливом детстве. Егоркино же детство едва ли можно назвать счастливым, по крайней мере в светском понимании (при всех хитросплетениях исторической и культурной изменчивости понятия счастья, которое никоим образом не является некоей кросскультурной универсалией [37. С. 11]). Так, нарратор, характеризуя детство Егорки, прибегает к оксюмору и называет его «беспечным, богатым невероятной нищетой» (6, 15). В этом смысле гребенщиковская версия детства, опирающаяся скорее на горьковский (при всех тех оговорках, которые были сделаны выше), нежели на толстовский образец, является скорее полемической по

¹ Любопытно, что почти одновременно с этим великий сибиревед М.К. Азадовский в одной из основополагающих для изучения литературы восточной окраины Российской империи статье 1927 г. писал: «"Житием" Аввакума открывается история сибирского пейзажа в русской литературе, и с него же ведет начало та интерпретация сибирской жизни и природы, которая станет надолго основной в русской литературе» [34. С. 504].

² О роли, которую опальный протопоп сыграл в процессе формирования литературы Сибири, см. специальную работу: [35].

³ Например, вполне «пушкинская» характеристика книги как «плода», погруженная, впрочем, в совсем иной, нежели в первоисточнике (а именно – патриотически-серьезный, совсем не «пушкинский») контекст: «Сей плод любви к родной стране я посвящаю каждому, / Кто ценит мудрость в простоте <...>» (6, 9). Предположение о «пушкинском» характере посвящения поддерживается реминисценцией из «Пророка», содержащейся там же, – продолжим цитату: «<...> Кто озарен или томим духовной жаждою <...>» (6, 9).

отношению к версии Толстого, предложившего парадигмальную в этом отношении для русской литературы модель.

Помимо этого, здесь важны различия нарратологического порядка. По сравнению и с пушкинским романом в стихах, и с квазиавтобиографической трилогией Толстого Гребенщиков сокращает дистанцию между собой как конкретным автором и персонажем настолько, насколько это вообще возможно в художественном тексте. Помимо приводившихся выше деклараций, этот эффект достигался использованием двух взаимосвязанных средств. Во-первых, с помощью полного тождества не только имен автора и главного героя (Егорка и Георгий¹), но и других персонажей с их прототипами. Во-вторых, с помощью соответствия фактографического материала канве мифологизированной биографии писателя, изложенной в уже упоминавшемся письме к Л.Н. Клейнборту, суммировавшем в 1915 г. ключевые коллизии, мотивы и детали мифо-биографического нарратива Гребенщикова.

Так Гребенщиков дистанцировался от авторитетных литературных образцов². Как справедливо замечает по поводу толстовского «Детства» И. Паперно, «несмотря на автобиографическую форму повести (повествование от первого лица и биографический сюжет), Толстой не думал о “Детстве” как об истории собственной жизни» [39. С. 48]. По словам А.Л. Зорина, предпринятое Н.А. Некрасовым «произвольное исправление (заглавия повести. – А.Г.) побуждало читать текст как автобиографический, что нарушало тщательно выдержанный автором баланс» [40. С. 31]. Зорин, конечно, имеет в виду именно интересующий нас баланс между конкретным автором и протагонистом. Оба исследователя – и Паперно и Зорин – основываются в приведенных рассуждениях на резкой реакции Л.Н. Толстого, которая была спровоцирована тем, что Некрасов изменил авторское название «Детство» на «Историю моего детства», тем самым недопустимо, по мнению Толстого, сузив объект репрезентации. В письме к Некрасову от 27 ноября 1852 г. Толстой сетовал: «Заглавіе: *Дѣтство* и нѣсколько словъ предисловія объясняли мысль сочиненія; заглавіе же *Ист[орія] М[оего] Дѣтства*» напротив, противорѣчить ей. Кому какое дѣло до исторіи *моего* дѣтства?» [41. Т. 59.

¹ Тогда как Толстой уже на номинативном уровне подчеркивал разницу между собой и протагонистом трилогии, дав ему имя Николеньки Иртенъева, а пушкинский рассказчик, при всей автобиографичности одной из своих ипостасей, остается вообще безымянным.

² Специального внимания заслуживает сопоставление «Егоркиной жизни» с двумя (псевдо)автобиографическими книгами, созданными в 1920–1930-е гг. Первая из них – повесть А.Н. Толстого «Детство Никиты» (1920), впервые изданная в Берлине в 1922 г. Гребенщиков вполне мог читать ее, живя в Европе, где он (в Париже) встречался с Толстым и откуда перебрался в Америку только в 1924 г. Вторая – роман И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева» (1927–1929, 1933), который Гребенщиков читал вне всякого сомнения. (В этом последнем случае особенно характерно, что заглавие «Егоркина жизнь» построено по той же модели, что и название книги Бунина.) Переписку Гребенщикова с Буниным и сведения о сложной истории их взаимоотношений см.: [38].

С. 214]. Крайне любопытно, что аналогичную операцию проделал уже упоминавшийся кинорежиссер М.С. Донской, давший своей картине 1938 г. название «Детство Горького» вместо горьковского «Детства».

В конечном итоге гребенщиковский Егорка стал литературным alter ego автора, призванным решить, как кажется, центральную прагматическую задачу Гребенщикова – создание автоагиографического текста, подводящего итог длительной работе по формированию персонального мифа о Гребенщикове как писателе «из народа». Однако этот прямолинейный ход – максимально возможное в фикциональном повествовании отождествление автора с персонажем житийной автобиографии, неминуемо создающее эффект самосакрализации, отчасти должен был сниматься в открывающем последнюю главу фрагменте: «Затянулась наша повесть. Такая длинная история о таком маленьком человеке. Пора ее кончать. <...> Без преувеличений и без ненужных, унижающих человека преуменьшений примем эту жизнь так, как она здесь рассказана, как жизнь одного из сынов простого и все-таки великого народа. Ведь о народе и был наш главный сказ» (6, 286). Здесь «маленький человек» Егорка оказывается метонимией «простого и все-таки великого народа». И вместе с этим не просто главный, а заглавный персонаж книги риторически отодвигается на второй план, уступая первенство внутри системы персонажей коллективному телу народа¹.

Гребенщиков инвертирует здесь этикетный прием самоуничтожения средневекового агиографа. Последний, как хорошо известно, подчеркивал собственную ничтожность по сравнению с объектом описания и прославления. В «Егоркиной жизни», напротив, рассказчик извиняется перед читателем за «ничтожность» заглавного героя, аналогично тому, как это делает Ф.М. Достоевский в романе «Братья Карамазовы»². У Достоевского рассказчик, в главке «От автора» фигурирующий в ипостаси «ограниченного в

¹ Ср. в уже цитированном письме Гребенщикова к И.И. Сикорскому от 10 января 1953 г.: «Народ мой там основной герой, и вышел он весьма красочен, масса картин быта и жизни, калейдоскоп событий» [5. С. 163].

² В пользу того, что это не случайная параллель, а результат прямого, историко-генетического влияния романа Достоевского на гребенщиковскую поэтику, свидетельствуют разнообразные аллюзии на «Братьев Карамазовых», обнаруживающиеся в других произведениях Гребенщикова. А.П. Казаркин обоснованно писал об ориентации персонажной системы романа «Чураевы» на последний роман Достоевского. См.: [42. С. 67]. Эта идея исследователя нашла продолжение в работе: [42. С. 271]. О том, что «Братья Карамазовы» находились в поле внимания Гребенщикова во время работы над «Чураевыми», свидетельствует начертанный рукой писателя на обороте перечня имен к одному из томов эпопеи список книг, в котором название романа Достоевского соседствует с Талмудом, Кораном, «Адом» Данте, «Дон Кихотом» и «Фаустом» [17. Ед. хр. 58342/73. Л. 7]. Наконец, в позднейшей статье «Нормально ли современное человечество», написанной в 1950-е гг., Гребенщиков говорит об атеизме как одном из ключевых слагаемых современности и характеризует эпоху взятыми в кавычки словами «все позволено» [17. Ед. хр. 56739/223. Л. 2], создающими интертекстуальную перекличку с известной формулой Ивана Карамазова, ставшей одним из лейтмотивов последнего романа Достоевского.

своём знании хроникера» [18. С. 69]¹, говорит об отсутствии аргументов, которые могли бы обосновать значимость героя романа и необходимость уделить ему читательское внимание. В предуведомлении «От автора» читаем:

<...> хотя я и называю Алексея Федоровича моим героем, но, однако, сам знаю, что человек он отнюдь не великий, а посему и предвижу вопросы вроде таковых: чем же замечателен ваш Алексей Федорович <...>? Что сделал он такого? Кому и чем известен? Почему я, читатель, должен тратить время на изучение его жизни? [45. Т. 14. С. 5]².

Гребенщиковский же нарратор, поставивший одной из своих задач написать своеобразное коллективное житие, житие «простого народа», поясняет необходимость «тратить время» на «изучение жизни» персонажа своего рассказа тем, что оно эквивалентно изучению народа. Характерно при этом, что Гребенщиков, как мы видели, помещает схожий пассаж не в начало произведения, как это было у Достоевского, а в его конец, т.е. перемещает его в еще более сильную позицию. Ср. в самом начале «Егоркиной жизни»:

<...> избрали мы Егоркину жизнь не потому, что он сын бедняка и что жизнь его полна будет обидами и нищетой, а потому, что <...> хлеб его выкормит, вода вымоет, а что из него выйдет – гадать не будем. А главное, потому, что повезло Егорке родиться в той среде, в которой он рос, как в бурьяне, пропахший горькою травой-полынью, а полынь, как известно, даже и коровы не едят, а блохи от полыни скачут во все стороны (6, 18).

Впрочем, в «Егоркиной жизни» возникает противоречие между цитируемыми нарраторскими декларациями принадлежности главного героя к народу и логикой фабулы, согласно которой Егорка впоследствии во многом отделяется от народного (для Гребенщикова – по преимуществу крестьянского) тела, «выламывается» из него, выбрав путь (само)просвещения. В этом смысле Гребенщиков прибегает здесь к своему излюбленному конфликту между стремящимся к «свету» культуры из «тьмы» невежества и нищеты одаренным юношей и враждебным ему, косным и консервативным окружением³.

Так или иначе, Гребенщиков, прибегавший в «Егоркиной жизни» к использованию широкого репертуара агиографической топикки⁴, реализовал в

¹ О колебании нарратора в «Братьях Карамазовых» между всеведущей и вездесущей инстанцией, с одной стороны, и ограниченной в своей нарративной компетенции фигурой хроникера – с другой, см.: [18. С. 69]. Специально о предисловии к «Братьям Карамазовым» см.: [44. С. 200–223].

² Ср. общую трансформацию житийных традиций в романе Достоевского, связанную, в частности, с активизацией элементов агиографической поэтики в нарративном плане. Как отмечает В.Е. Ветловская, повествователь в «Братьях Карамазовых» восходит к фигуре средневекового агиографа [46. С. 24].

³ Об этом конфликте, пронизывающем существенную часть корпуса художественных и автодокументальных сочинений Гребенщикова, а также ряд его публицистических выступлений, см., например: [3. С. 349].

⁴ Типологию топикки корпуса русских житий см. в фундаментальной статье [47]. Специально о топикке житий преподобных см. работу [48], на которую мы опирались прежде

этой книге множество важнейших элементов структуры преподобнического жития (топика которых, по замечанию Т.Р. Руди, «является, пожалуй», «наиболее разнообразной и особенно детально разработанной» [47. С. 78]):

– рождение от «христоролюбивых родителей»¹: этому критерию соответствуют и набожная, «богомольная» мать героя, мечтающая постричься в монахини (б, 9б), и отец, грубость которого, рьящая маленького Егорку, детерминирована суровыми жизненными обстоятельствами;

– исключительность героя и проявление склонности к избранному пути с детства (изначальная предназначенность служению, открывающаяся матери и – позднее – ему самому)²;

– неучастие в детских играх (как и в праздниках взрослых)³;

– уход из родительского дома (мотивированный в случае Егорки необходимостью выбиться «в люди», о чем ему регулярно говорит мать – последнее обстоятельство маркирует сдвиг в структуре житийного топоса);

– усердное посещение церковной службы (святой «первым приход[ит] в храм и последним его покида[ет] <...>» [48. С. 470]; в случае Егорки храм замещается школой – подробнее об этом речь пойдет ниже);

– презрение к «богатым одеждам», которым предпочитают «“худые” ризы <...>» [48. С. 474] (ср. постоянные акценты на жалком внешнем виде Егорки, делающиеся на протяжении большей части книги);

– аскетические подвиги;

– борьба святого с бесами.

В гребенщиковской книге отсутствует описание кончины главного героя, а изображения чудес трансформированы (речь в данном случае идет не о чудесах, творимых мощами святого, а о чудесах или их секуляризованных эквивалентах, сопровождающих жизнь героя) и ограничены прижизненными примерами, поскольку жизнеописание Егорки длится до его девятнадцати лет, «порога юности» героя⁴.

всего. Исследовательница выделяет 19 основных топосов, присущих преподобническому житию, добавляя к ним 7, «свойственных в основном житиям основателей монастырей, составляющим подгруппу житий преподобных <...>» [48. С. 499].

¹ Ср.: «Съи преподобный отец наш Сергие родися от родителя добродородну и благоврну: от отца, нарицаемаго Кирила, и от матерее именем Мариа, иже бѣста Божии угодници, правдиви пред Богомъ и пред человеки, и всячьскими добродѣтелми исплнени же и украшени, якоже Богъ любит» [49. С. 262].

² Ср.: «Яко и преже рожения его Богъ прознаменаль есть его <...>» [49. С. 270].

³ Е.Н. Грачева указывает на то, что «мотив отказа от развлечений (и его модификаций – мотив[а] усиленных занятий в предназначенное для отдыха время)», имевший, вероятно, «житийное происхождение», был укоренен уже в описаниях детства поэтов XVIII в. [50. С. 326].

⁴ В данном случае уместно привести наблюдение, сделанное Е.Н. Грачевой на материале отечественных жизнеописаний рубежа XVIII–XIX вв.: «По сути дела, мотив осознания своего предназначения условно обозначал конец детства как предыстории <...>» [50. С. 328].

Образ Егорки, в полном соответствии с житийным трафаретом, с самого начала книги подается как исключительный, но понимание этой исключительности доступно сперва лишь его матери – в моменты «надземных, надбудничных видений»¹: «Ни сам он, никто из его ближних не могли предвидеть что к чему. И только мать его, Елена Петровна, изредка, когда была минутка помечтать в уединении и под тихие напевы старых песен, в которых все укладывалось в надземные, надбудничные виденья, понимала, что в Егорке что-то дано ей в утеху» (6, 93) – что воспроизводит мотив Жития Сергия Радонежского. Мать Егорки «наметила <...> его Богу посвятить, а как – не знает. Боится, что при следующих родах умрет, а до этой воли Божией хотелось ей свою волю как-то закрепить» (6, 97). Но Божий промысел помогает матери разгадать предназначение Егорки: «<...> когда шла домой, воля Божья сама постучалась в ее раскрытое сердце просто и тепло: “Подрастет, отдам его в ученье, поручу его Воле Божьей”. Кто же это так просто и твердо сказал в ней или над ней? Даже и мечтой угадывать не посмела» (6, 97)².

Провиденциальная отмеченность Егоркиной судьбы подчеркнута, помимо прочего, тем, что его жизнь постоянно, начиная с младенчества, подвергается риску, но он каждый раз остается жив: мальчик чудом не сгорает от уроненной им в избе свечи – спасает то, что «рубашонка оказалась мокрая» (6, 12); падает с печки в подполье, но избегает травм оттого, что приземляется на спину спустившейся за картошкой матери; вопреки ожиданиям матери выздоравливает после тяжелой и затяжной болезни; спасается во время смертельной опасности на сплаве бревен и т.д. «А сколько раз был на краю могилки»; «Много было с ним беды, всего не перескажешь», – резюмирует нарратор (6, 11, 12).

Моменты опасности, потенциальной смерти и ее преодоления приобретают (и по логике фабулы, и в прямых высказываниях на этот счет повествователя) телеологическую окраску – Егорка не умирает не просто так, а именно в силу некоего особого предназначения. В соответствии с логикой синтеза двух дискурсов – агиографического и автобиографического – этот житийный мотив несколько ослабляется беллетристической декларацией нарраторского «незнания» судьбы героя: «<...> пересмотрим прошлое Егорки, которому, быть может, суждена долгая и полная еще более пестрых приключений жизнь» (6, 287). Егорка не выбирает своей судьбы, он, подобно житийному святому, изначально предназначен для миссии, которая нуждается только в расшифровке, достигающейся с помощью прозрения³.

¹ Исключительность героя рифмуется с неординарностью его матери. Например, мудрому деревенскому старику Вяткину она кажется «необычайной, не простой, не малограмотной, а очень сильной мудростью, и мудрость ее в простоте и в этой чистой покаянной кротости» (6, 96–97).

² Ср. сцену Егоркиной теофании, которая будет обсуждаться ниже.

³ По словам М.Б. Плюхановой, «важнейшая особенность традиционной агиографической системы состоит в том, что не герой жития выбирает святость, а святость уже выбрала его прежде, чем он стал объектом житийного прославления» [30. С. 122].

Исключительность героя коррелирует с его социальной обособленностью: как и древнерусский святой, Егорка не участвует в окружающих его играх, забавах и празднествах. Эта выключенность из органичного для ребенка контекста может иметь различные мотивировки: с соседскими детьми Егорка не играет потому, что не может оставить без присмотра младшего брата (6, 84); в веселой и шумной свадьбе своей тетки Ольги мальчик «один <...> оставался не у дел», потому что у него не было сапог (6, 166)¹. Житийная мотивировка здесь ослабляется (святой не играет со сверстниками потому, что он изначально изъят из «профанной» сферы, Егорка же не имеет «технической» возможности включиться в эту сферу), но семантика остается аналогичной.

С отмеченной выделенностью героя из своей семьи и – шире – среды любопытным образом соотносится его жалкий вид. С одной стороны, духовная чистота героя диссонирует с телесной грязью и болезнями: «<...> ноги его в цыпках (цыпки и сопли – постоянные атрибуты детства и отрочества героя. – А.Г.), грязные и в ссадинах, то ноготь сорван, то колено распухло от ушиба, то где-нибудь сидит на его теле мучительный чирей» (6, 93). С другой же стороны, «постоянно жалкий» вид Егорки тоже выделяет его на фоне других членов семьи. Однажды мать, глядя на него, заплакала навзрыд, потому что сын «показался ей таким несчастным, таким жалким»:

И личико его курносое шелушится: кожа на лице много раз обгорела еще на пашне, слезает перхотью и застревает в белом пушке на щеках, а нос опять мокрый, и рваная рубашка <...> испачкалась. Ни Миколка, ни Оничка, ни даже маленькая Фенька (брат и сестры Егорки. – А.Г.) никогда не бывают такими жалкими (6, 94).

Показательно, что рассказчик нигде однозначно и исчерпывающе не говорит о том, к какому именно служению предназначен Егорка. В мечтах матери ориентир для него – судьба Ломоносова (что, в свою очередь, полностью укладывается в «ломоносовскую» канву персонального писательского мифа Гребенщикова²):

¹ В этом эпизоде повествователь постоянно делает акцент на сапогах других персонажей, вольно или невольно подчеркивая выделенность главного героя из ряда пирующих и веселящихся на свадьбе и его одиночество. Егорка любит сапоги, который «в новых сапогах <...> казался выше ростом и моложе и красивее» (6, 166); жених Ольги Александр «в черных брюках навыпуск поверх черных лаковых сапог» (6, 166).

² Эта деталь актуализирует в новом контексте проблему просветительской рецепции жанра жития. Гребенщиков, активно опираясь на образцы древнерусской агиографии (в первую очередь Житие Сергия Радонежского) и автоагиографии (прежде всего Житие протопопы Аввакума), мог учитывать и более поздние образцы отечественной словесности, в которых тоже, в свою очередь, трансформировалась агиографическая поэтика. Например, радищевское «Житие Федора Васильевича Ушакова», уже само название которого, содержащее в себе «несовместимые слова “житие” и “Федор” (вместо “Феодор”)), сигнализирует о желании автора «сблизить, синтезировать противоположные

А все-таки почему бы не случиться чуду?.. Ведь летят же птицы – на лето из теплых стран на север, а на зиму опять же на теплые моря далекие... Ведь не все же сказки, и не все из книжек вычитала... Был же ведь и Михайла Василич Ломоносов из бедняков... Это у Елены уже зарождается мечта о будущей судьбе Егорки (6, 95).

Сына в свои мечты Елена Петровна не посвящает: «Егорка еще мал и глуп, с ним рано делиться такими думами <...>» (6, 95).

В то же время функцию «небесного покровителя» мальчика выполняет А.С. Пушкин, чей образ контаминируется в воображении Егорки с фигурой его матери, в «буранливую ночь» читающей в избе «Буря мглою небо кроет...»:

<...> постучался кто-то столь родной и близкий и столь великий, столь все понимающий и знающий все подробности их жизни, что он никогда-никогда их не оставит, а Егорку поведет через тернистые пути его будущей жизни и поможет, поможет все перенести, все вытерпеть (6, 141).

В перспективе ломоносовского мифа, усиленного пушкинскими обертонами (напомним, что Пушкин, наряду с Л.Н. Толстым, был ключевой для Гребенщикова фигурой русского литературного пантеона XIX в.¹), неудивительно, что знание и его источник – школа – наделены в «Егоркиной жизни» семантикой святости. Так, в «Послесловии» прототип учительницы Егорки, учительница Г.Д. Гребенщикова Ольга Афиногеновна, прямо названа «святой» (6, 296). В сознании автора (как уже говорилось, во многих отношениях – как, например, в этом случае, – совпадающем с сознанием протагониста, хотя, повторим, и не тождественным ему) святость синонимична красоте, поэтому учительница, которая сравнивается с матерью (изначальным эталоном «красоты» и «святости» и для автора, и для Егорки), оказывается «красивее» и, следовательно, «святее» последней: «Может быть, самая красивая и самая святая во всем мире для меня» (6, 296)².

С учительницей связана и значимая художественная манифестация гребенщикова литературоцентризма – ее красота рифмуется с символизирующими знание «идеальной красоты прописными буквами», которые она выводит на доске. Впоследствии учительница «никогда не вышла замуж, может быть, из-за руки (поврежденной в юности. – А.Г.), а может быть, потому, что отдала себя школе, как монастырю» (6, 297). Завороженный сакрализованной в его сознании учительницей, Егорка приходит в школу раньше

традиции», а вместе с тем может быть прочитано «как свидетельство отрыва от церковнославянской стихии» [51. С. 158]. Пока не обнаружено свидетельств знакомства Гребенщикова с книгой А.Н. Радищева, исследователю остается ограничиваться констатацией наличия очевидных типологических связей «Егоркиной жизни» и «Жития Федора Васильевича Ушакова».

¹ Подробнее об этом см.: [52].

² Ср. также в письме Гребенщикова к Клейнборту: «В учительницу был влюблен, <как> в святую, и все ее слова запоминал как заповедь» [27. С. 35].

других ребят и уходит позже, потому что школа становится для него пространством святости и чистоты, контрастирующим с домом, где он то и дело обнаруживает грубое обращение отца с матерью, ссоры, вызванные нищетой, и прочие непотребства¹.

Функцию помехи в учении Егорки, аналогичную функции помехи святому в изучении церковных книг и служении Христу в житиях, выполняет член семьи заглавного героя – его брат Миколка². Он издевается над Егоркой и даже бьет его за то, что тот учится в школе³: «Егоркины книжки и тетрадки раздражали Миколку, и он все грозился сжечь их, да матери побавивался, хотя и на нее косился – это ее затея из Егорки “писаря доспеть”» (6, 214). Остальные жители деревни тоже высмеивают Егорку-ученика, с подачи Миколки презрительно называя его «конторским» (6, 184).

Важнейшим аргументом в пользу исключительности героя, соотнесенным с мотивом прозрения им собственной судьбы и мотивом сохранения Егоркиной жизни высшими силами, является визионерство (ср. визионерство Аввакума⁴ или Епифания). Во время продолжительной болезни ослабевшего Егорку привозят на пашню. Там происходит теофания, подготовленная и мотивированная пограничным состоянием героя: «<...> в это незабываемое утро маленькой душе Егорки, едва теплившейся в иссохшем в долгом, невинном страдании тельце, открылся Бог во всем Своем сиянии, во всей Своей беспределности и светозарной⁵ красоте» (6, 181).

Там же, на пашне, происходит видение измученного долгой болезнью Егорки – плывущее по небу облако оказывается ангелом:

Внизу сверкала тихая речка возле мельницы <...> и уплывающее вдаль белое облако тоже смеялось оттого, что унеслось уже так далеко – никто не догонит, не поймает. Тут Егорка прищурил глаза – подождите! Это же ангел Божий летит. Самый настоящий, с перистыми, заостренными на концах крыльями. Точь-в-точь такой, но только еще лучше, как он видел где-то у мамы на картинке в книжке. И

¹ Ср. «сгущение» темы, приводящее к описанию школы как рая в письме к Клейнборту: «Любил в школу приходить раньше других, особенно весной, и чувствовал себя в ней как в раю. Особенно после того домашнего греха, в котором постоянно <...> находилась моя семья» [27. С. 35].

² Аналогичный конфликт был разработан Гребенщиковым уже в пьесах «Сын народа», где содержатся сцены притеснения главного героя Федора Правдина отцом и старшим братом Савелием за чтение книг, и «Джаксы джигит» (здесь этот конфликт «модерного» героя, тянущегося к «свету» знания и патриархального окружения, всячески препятствующего этому, выражен менее отчетливо, но всё же занимает в структуре драмы важное место).

³ Исследователь древнерусской книжности отмечает «значимость родственных <...> отношений святого и его врагов для сюжета страстотерпческой агиографии» [63. С. 122], следы поэтики которой очевидны в структуре «Егоркиной жизни».

⁴ О видении Аввакума, структурирующем в его сознании собственную жизнь как единый текст и придающем ей телеологическое измерение, см.: [53. С. 242].

⁵ Это характерное для рериховского лексикона слово можно рассматривать как пример «рецидива» хорошо известного в гребенщиковедении влияния семьи Рерихов на Г.Д. и Т.Д. Гребенщиковых, которое было наиболее интенсивным в середине 1920-х гг.

вспомнил он старичка седенького, которого мать приютила в их избе на весь Великий Пост. Да, мама называла его ангелом. Есть ангелы! Есть! Егорка от усталости закрыл глаза и не мог их открыть. Сон одолевал его, он с непривычки упился запахами поля, свежей пшеницы и медунок, что держали его слабые, сморщенные, восковые ручонки (6, 181–182)¹.

Другое видение героя происходит во время сплава бревен:

Он видел сон наяву. <...> Егорка как будто задремал на своем коне, и ему казалось – откуда-то из книжек – он видит на себе отражение былинной правды, он взрослый и даже очень старый, старый человек... Нет, он не богатырь перед распутием трех дорог, он неизвестный, безымянный старый человек, которому суждено увидеть все, что сейчас перед ним, и понести эту правду-быль из века давно-давно прошедшего в века, далеко уходящие в будущее. Вот именно здесь, на этой высоте, он впервые вырос в высоту недетского прозрения: он все это унесет с собой далеко в пространстве и во времени (6, 212).

Показательно, что образы обоих этих видений подготовлены в сознании героя книжными впечатлениями: ангела «он видел где-то у мамы на картинке в книжке» и себя «неизвестным, безымянным старым человеком» тоже видел «откуда-то из книжек». Кроме того, в этих неясных пророчествах, выполненных с помощью несобственно-прямой речи, вполне различима писательская судьба Егорки («...суждено увидеть все, что сейчас перед ним, и понести эту правду-быль из века давно-давно прошедшего в века, далеко уходящие в будущее»). Затем, уже в предпоследней главе, эта перспектива будет очерчена гораздо более определенно. Приехавший с ревизией товарищ прокурора скажет судье Цвиллинскому, помощником которого был уже повзрослевший Егорка, о составленных последним протоколах допросов: «Вы знаете, господин судебный следователь, когда я был мировым судьей, я никогда не применял... – он замялся, подыскивая подходящее слово. – Не применял, так сказать, беллетристической формы. А у вас тут, я вижу, целый роман записан. Все в диалогах» (6, 278).

Еще одно видение является Егорке по дороге в город, куда он отправляется с отцом. На третий день пути, «под вечер на ровном и туманном горизонте, на желто-красном предзакатном небе показалось нечто странное, невиданное – город» (6, 221). Однако это видение города оказывается псевдовидением, переключая повествование из высокого регистра видения города (формирующего соответствующий горизонт читательского ожидания, в рамках которого реципиент ориентирован на подобие видения Небесного

¹ Ср. «одно детское видение» самого Гребенщикова, описанное им в книге «Гонец. Письма с Помпеярага»: «Когда и где оно запечатлелось, я не знаю, может быть, во сне, может быть, в мечтах бессонного глядения на звездное небо, когда в звездную полночь я просыпался на родной земле, на пашне, среди снопов и сена. Передо мною возвышался образ Богоматери – неописуем лик Ее, склоненный к Младенцу Сыну, но с плеч спадает складками синий плат, весь в звездах, значит, целое небо, все мироздание служит Ей покровом – так величественен был Ее образ...» (4, 352).

Иерусалима) в русло скорее натуралистической зарисовки. Впервые узревший город Егорка принял за мираж реальные очертания Семипалатинска. Однако в жизни Егорки было и настоящее видение города: «...однажды <...> в полудремоте или в бреду» Егорка видел «неправдишное небо и неправдишный город, но тонкий и прозрачный, насквозь был виден весь, как сотканный из полотна <...>» (6, 221).

Это (квази)видение, в котором оказалось «много мечетей, больше, нежели церквей» (6, 221), можно объяснить двояко. Во-первых, Егорка прозревает в нем свое попадание в Семипалатинск, «одноэтажную деревянную столицу прииртышской Киргизии» (6, 243), где ему суждено будет прожить важный этап жизни. Не случайно одно из первых городских впечатлений мальчика – вид татарского муллы рядом с мечетью и звуки утреннего намаза, раздающиеся «с отдаленных концов города» (6, 223). В то же время обыденное для Семипалатинска доминирование мечетей над православными храмами на символическом уровне поэтики книги, возможно, отсылает к важнейшей для историософской рефлексии Гребенщикова эпохе монгольского нашествия¹. Такое прочтение поддерживается «подсвеченностью» образа другого литературного alter ego создателя «Егоркиной жизни» – визионера и историософа Василия Чураева – фигурой Сергея Радонежского, святого-духовидца, с чьим именем привычно ассоциировалась победа над Золотой Ордой. В «Чураевых» преподобный Сергей является Василию и разрешает нестыковки историософской концепции героя, ищущего телеологического оправдания жестокостям и «крови» Московского царства. Выходя из старообрядческой церкви на Рогожском кладбище, Василий «вдохнул в себя струю свежего воздуха», после чего «над ним раздался мощный благовест и, как живой, встал образ Сергея Радонежского. Вот о ком забыл он, когда обвинял Московскую Русь» [55. С. 138]. Колокольня храма кажется Василию «похожею на сказочного гиганта-витязя, смотревшего с горы куда-то вдаль» [55. С. 138]. «Могучий витязь точно ожил. В красной кольчуге, в тяжелом сером шлеме с остроконечным верхом, заканчивающимся золотым крестом, он зычно повторял какое-то одно могучее, большое, еще никем не понятое слово» [55. С. 138]. Примечательно, что герой «Чураевых» расшифровывает этот символ как призыв возвращаться домой, в родную кержацкую деревню (напомним, что это возвращение будет предшествовать окончательному разрыву Василия с семьей).

¹ Вполне возможно, что одновременно с этим обсуждаемая сцена восходит к «Воспоминаниям» одного из учителей и покровителей Гребенщикова «старшего» областника Г.Н. Потанина, который, рассказывая о своем детстве, писал: «С переезда в Семиярск я начинаю помнить факты моей жизни, хотя и не в хронологическом порядке, а отрывками, в виде отдельных картин. Так, я запомнил оригинальную семярскую церковь с двумя колокольнями, которые не примыкают к центральному зданию с куполом, а выстроены в виде отдельных башен, одна к северу, другая к югу от церкви, купол над центральным зданием плоский, и весь ансамбль этого сооружения скорее напоминает мечеть, чем церковь» [54. С. 29]. Это предположение поддерживается в числе прочих и тем обстоятельством, что Семярск находится неподалеку от Семипалатинска.

Принципиально важна здесь эта концентрация визионерской мотивики – герою-духовидцу предстает святой, в свою очередь тоже являющийся визионером. Как показал еще Г.П. Федотов, Сергей Радонежский был первым в русской агиографии визионером, имевшим видения не только темных сил [56. С. 116 и след.]: в ранней русской агиографии видения «являлись искушением». Кроме того, святые могли быть наказаны «ложными видениями» за «высокомерие чрезмерных подвигов» [30. С. 124].

Как уже говорилось, Гребенщиков в «Егоркиной жизни» довольно точно следует канону преподобнического жития. Составленное Епифанием Премудрым Житие Сергия Радонежского, главного, по мнению Гребенщикова, святого в отечественной истории, вообще стало центральным агиографическим источником «Егоркиной жизни». Вспомним, что один из лейтмотивов составленного Жития Сергия Радонежского состоял в том, что от роду Сергей был мало учен и ему с большим трудом давалась грамота¹. Вне всякого сомнения, фигура преподобного Сергия, которая вообще была крайне важна и для дискурсивных, и для житнетворческих практик Гребенщикова, в данном случае могла быть ценной для сибирского писателя-самоучки, раз за разом подчеркивавшего сложную траекторию пройденного им пути автодиакта, особой (авто)психологической ценностью². Кроме того, Егорка, как и древнерусский святой, с детства был наделен особым зрением³, позволившим ему со временем разгадать свое предназначение.

¹ Ср.: «<...> не скоро выкнуща писанию, но медлено нѣкакo и не прилѣжно» [49. С. 274].

² Подробнее об отношении Гребенщикова к этому святому см.: [57]. Ср.: [58. С. 8, 13–14].

³ Для «Егоркиной жизни» вообще характерен акцент на зрении, которое становится в книге не только главным анализатором, которым наделены персонажи, и важным мотивом, но и продуцирует особую значимость в тексте пространственного плана реализации точки зрения перспективы (по В. Шмиду). Основная, фикциональная, часть книги открывается главой «Что первыми увидели глаза» (о литературном топосе первого переживания см.: [59]), а заканчивается словами из гипотетической молитвы Егорки, которой завершается фикциональная часть книги: «Возьми, Господи, мой разум, мою память, мой слух и все иные Твои блага, но оставь мне по ту сторону жизни глаза мои – дивный и извечный дар Твой. Ибо глазами возлюбил я и благословил всю мудрость творения Твоего... Глазами я увидел небо на земле» (6, 291). Вообще говоря, такой акцент вполне типичен и для (хотя бы отчасти) автобиографического нарратива, и для художественных произведений, лишенных автобиографического начала. Ср., например, заглавия книг не похожих друг на друга писателей (при этом практически полных ровесников Гребенщикова), которые создавались одновременно с долго писавшейся «Егоркиной жизнью»: «Подстриженными глазами» (впервые опубликована отдельной книгой в 1951 г. в парижском издательстве YMCA-PRESS, отдельные главы выходили начиная с 1929 г. [60. С. 538]) А.М. Ремизова, написанная в эмиграции (где Ремизов встречался с Гребенщиковым), «Полугораглазый стрелец» (1933) Б.К. Лифшица или «Что я видел» (1939) советского литератора Б.С. Житкова. Подобные примеры без труда можно множить – квантитативное исследование частотности подобного рода названий в русской литературе первой половины XX в. может стать отдельной многообещающей исследовательской темой. Важно, однако, что Гребенщиков разрабатывал «офтальмологическую» тему крайне интенсивно и систематически, почти с начала и до самого конца своего долгого литературного пути. Так, прищуренные глаза, которые встречаются и в «Егоркиной жизни», стали

Переездом в город, являвшийся мальчику в видениях, символизирован его окончательный отрыв от семьи и начало «служения». В житиях осуществлению подвижнического пути святого предшествует его пространственное перемещение – удаление «от мира», в монастырь или в пустыню. В «Егоркиной жизни» перемещение героя из деревни в город выполняет внешне иную, но по сути идентичную функцию – приобщения его к миру сакрализованного знания, сосредоточенного именно в городском пространстве. Весь городской этап жизни Егорки как бы обобщен с помощью метафоры лестницы – как «восхождение» героя со ступени на ступень. Так, повышение Егорки по службе в аптеке, описанное в главе XIX под характерным названием «Егоркино счастье» и сопровождающееся перемещением из подвала аптеки в «надземную» часть здания, «было <...> для него как бы восхождением от земли к небеси» и породило намерение переодеться в «новые рубашку и штаны», поскольку, выбравшись из «каморки» на свет, «надо быть чистеньким» (6, 253). Показательно, что происходит это пространственное и вместе с тем символическое перемещение героя на Пасху.

Такая пространственная семиотика, восходящая в русской культуре к средневековым текстам [61. С. 112–117], позволяет Гребенщикову показать путь своего alter ego как постепенное восхождение от «тьмы» (невежества, грязи, греха) к «свету» (знанию, чистоте, святости). Здесь Гребенщиков варьирует топику «света» и «тьмы», детально разработанную уже в самых ранних версиях его мифо-биографического нарратива. Ограничимся здесь одним примером, взятым из письма Гребенщикова к Е.А. Ляцкому от 14 июня 1915 г., в котором содержится выразительное органицистское самописание:

Я знаю многих степных киргизят, которые в науках совсем зачахли и выродились физически. Это от пересадки на новую почву, менее здоровую, но богатую со-блазнами к знаниям, свету и всему тому, что высасывает соки без остатка. Вот я борюсь и с тьмой в себе, и с сильным светом, и все же я тоскую, я как бы не здоров совершенно. Мне горько, что я ужасно мало знаю, мало читаю, мало учусь, и страшно всецело отдать свое собственное под обаятельную власть книги и науки, где, конечно, все мои личные грани сотрутся и я не буду похож на себя (1, 558)¹.

Но сюжетогенный потенциал житийного мотива избранности героя, телеологически структурирующего его судьбу от рождения до смерти, остался в «Егоркиной жизни» не исчерпанным до конца, поскольку книга обрывается главой «Первая любовь», в конце которой герою только девятнадцать лет.

характерной мимической чертой многих гребенщиковских героев, как правило – главных. Ср. героев «Чураевых», «Ханства Батырбека», «Любавы», «Былины о Микеле Буяновиче» и многих других произведений Гребенщикова. Эта черта дает богатый материал для анализа, выходящего далеко за пределы сфер антропологии и мимики.

¹ Крайне важно, что в «Егоркиной жизни», при сохранении антитезы «тьмы» и «света», коннотированных как полюса невежества и просвещения, будет утрачена эта напряженность процесса самоидентификации: Егорка однозначно выбирает полюс книжного знания, не боясь «отдать свое собственное под обаятельную власть книги и науки».

Тема греховности города, контрастирующей с «чистотой» деревни, в «Егоркиной жизни», по сравнению с житийными образцами, как и в романе «Чураевы», оказывается ослабленной. В городе, который в житиях с их бинарной пространственной семиотикой обычно изображался как локус греха, набожный Егорка сталкивается с искушениями. Важно, однако, что искушения, как и переживания собственной греховности, сопровождали героя уже в деревенском детстве. Так, на праздничных катаниях с горки мальчик поцеловал, по обычаю, поповскую дочку Маничку, которая рассердилась на него за этот поцелуй. Егорка же несколько недель мучился, не мог заниматься в школе и считал себя «грешником», будучи «уверен, что батюшка не даст ему Причастия. Если батюшка не простил, то и Бог не простит» (6, 196)¹.

Через несколько лет после отъезда Егорки в город происходит его встреча с матерью. Этот эпизод опять-таки с точностью дублирует житийные образцы. Узнав от богомолок, что мать, идущая в сопровождении других странниц «на богомолье к Абалацкой Божьей Матери», герой выходит навстречу и на пыльной дороге перевязывает ей и другой женщине ноги, «растертые песком, набившимся в дырявые обутки» (6, 267). Эти мотивы с очевидностью восходят к евангельскому топосу врачевания и омовения ног. Ср., например, сцены омовения ног Иисуса Марией Магдалиной (Иоанн 12: 1–8) или омовения Иисусом ног апостолов (Иоанн 13: 1–20).

После этого Егорка вместе с паломниками отправился в обитель, где «...провел весь следующий день, истратил все свои лекарства» – так, что «не хватило ни бинтиков, ни присыпок» (6, 268). После посещения обители становится яснее мечта Егорки – лечить «больных и страждущих», которых «много не только в больницах, но и при святых обителях» (6, 268). В этом смысле траектория егоркиной жизни полностью укладывается в отмеченную М.Н. Климовой тенденцию, в рамках которой «духовные устремления “новых святых” русской литературы XX в., как правило, направлены не столько “вовнутрь”, на личное спасение души подвижника, сколько “вовне”, воплотившись в деятельной и самоотверженной помощи окружающим» [62. С. 35].

Традиционный евангельский, а впоследствии и житийный, мотив способности героя к врачеванию (в частности, к врачеванию ног) служит одним из элементов лейтмотивной связи, придающим схожесть образам Егорки и его матери: именно от нее Егорка наследует особую чуткость и любовь к людям, которая деятельно воплощается в его врачебной службе (в том числе и в той помощи, которую он оказывает матери и другим паломникам). Незадолго до смерти у матери героя открывается особый дар к исцелению.

¹ Горячая вера Егорки проявляется также в его переживаниях на литургии. В Страстную субботу «новым с головы до ног и новым изнутри почувал себя Егорка, когда они подходили к храму» (6, 250). Лицо Егорки изображается как лик: «<...> когда из церкви полился поток света <...> Егоркино лицо, подернутое белым пушком, такое еще детское и чистое, озарилось не только светом его собственной свечи, но и сиянием настоящего счастья» (6, 251).

В уже неоднократно цитированном послесловии Гребенщиков, стирая дистанцию между собой и повествователем и используя отсутствовавшее в фикциональной части книги нарративное «Я», пишет: «Она всегда всем помогала чем могла. А последние годы ездила лечить и повивать по множеству окрестных сел и деревень. Слава о ее лечении была так велика, что и врачи с нею дружили» (6, 294). Показательно, что Егорка, постоянно находясь рядом с заразными больными, остается здоровым. Мать же его прототипа, «видимо, простудившись или заразившись от больных, внезапно умерла в тридцати верстах от дома» (6, 294). (В фикциональной части книги сведений о смерти матери нет.) Сам герой, находясь от дома намного дальше, избежал опасности, что можно расценивать как секуляризованный эквивалент чудес, сопровождавших жизнь и посмертие святых¹.

Егорка, после многочисленных городских «мытарств» служащий в больнице, регулярно наблюдает телесные муки, натуралистически описанные в тексте. Этот мотив плотских страданий, которые герой помогает врачевать, поддержан мотивом своеобразного умерщвления им собственной плоти, являющимся, в свою очередь, результатом трансформации житийного топоса. Но, в отличие от умерщвления плоти святыми, которое является актом сознательного подражания Страстям Христовым, частью *imitatio Christi*, аскетизм Егорки², подчеркиваемый рассказчиком, становится осознанным только отчасти – он обусловлен одновременно внешними причинами и особой «стыдливостью» героя. Так, Егорка не любил книг «о любви», поскольку в больнице, будучи учеником фельдшера, он «отвратился от любви» (6, 256). При-

¹ Ср. слова Гребенщикова из уже многократно цитированного письма к Клейнборту: «Здоров я был на удивление. Меня запрут в палату с рожистым, или с “сибирской язвой”, или с пятнистым тифом, и я хоть бы подумал об опасности. Теперь я с ужасом вспоминаю, что 300 раз мог заразиться. Однако – Бог хранил!» [27. С. 36].

² Ср. декларации аскетизма самого Гребенщикова, часто встречающиеся, например, в его письмах американского периода. Ограничимся двумя отличающимися друг от друга в смысле модальности и стилистики примерами, но объединенными при этом общей темой упорного аскетического труда и терпения. Первый – из письма к Н.К. и Е.Н. Рерихам от 10 августа 1924 г., написанного в самом начале американского периода жизни четы Гребенщиковых, находившихся в это время под влиянием рериховского учения: «<...> будьте спокойны за Нару и Тарухана (эзотерические “рерихианские” имена Т.Д. и Г.Д. Гребенщиковых. – А.Г.), они многое прошли за это лето в полном одиночестве, и дальнейшее пойдет легче хотя бы потому, что испытали, набрались терпения и проверили силу Руководства. И трудимся мы, трудимся непрерывно и не зная никакого отдыха, но что же делать – слабы еще силы человеческие» (4, 466). Второй – из письма к И.А. Бунину от 12 мая 1936 г., в котором рассказ о преодоленных трудностях уже окрашен горькой самоиронией: «<...> вот и мы (супруги Гребенщико́вы. – А.Г.) в смысле испытаний прошли здесь (в США. – А.Г.) все, подобно цирковым актерам: от кормления животных и дрессировки моржей <...> до полета на трапециях... Могла бы в пыль нас растоптать механическая, сумасшедшая в спешке Америка, но не растоптала, не далась... Сами овладели всей техникой типографских машин: набираем на линоTYPE, печатаем, верстаем, переплетаем, продаем книжки на лекциях» (5, 375).

чины этого «отвращения» кроются в двух эпизодах, помещенных в последнюю главу книги под характерным «инициационным» названием «На пороге юности». В первом Егорка становится свидетелем вскрытия тела молодой красивой девушки, соблазненной, брошенной и покончившей жизнь самоубийством. Во время вскрытия Виктор совершал непристойности над трупом, потом все куски плоти, им отрезанные под видом изучения анатомии, побросал в открытую полость живота и, ощеривши желтые кривые зубы, приказ Егору: – Теперь зашивай все! – И, вымывши руки, ушел (6, 261).

Во втором эпизоде случается восходящая к агиографическому сюжету соблазнения святого блудницей «шутка» помощника фельдшера Виктора, заманившего Егорку в палату с проститутками, одна из которых была в этот момент обнаженной. Первый эпизод содержал в себе момент религиозного искушения¹, второй же «хуже, нежели от мертвого трупа девушки, отвратил его от живой женской плоти» (6, 261). Характерно, что одна из проституток увидела Егоркино лицо и его строгое и невинное выражение, какого ей, видимо, никогда, нигде не приходилось видеть <...> прикрылась платьем и бросилась на Виктора разъяренной львицей: – Убирайся отсюда, ты, холуй! (6, 261).

Впоследствии Виктор «не успокоился и не устыдился», а «стал добиваться, чтобы Егор заменял его при осмотре доктором девиц, а их приезжало около двадцати» (6, 261). От преследований Виктора Егорку спасло только заступничество старшего врача (6, 261).

Учитывая наличие в структуре «Егоркиной жизни» различных агиографических топосов, можно утверждать, что функция искусителя Егорки Виктора одновременно аналогична функции бесов, искушающих преподобного, и функции врага святого-страстотерпца в мучениках. А.М. Ранчин указывает, что «роль антагонистов святого-страстотерпца в “протосюжете” о его убиении <...> исключительно велика. Она связана с “анти-”, “не-человеческими” характеристиками убийц» [63. С. 127]. В образе Виктора доминирует семантика «не-человеческого», зооморфного, проявляющаяся прежде всего в его волосатости² и косящих глазах³: «<...> самый неприятный чело-

¹ Ср. в гребенщиковском письме к Клейнборту: «Тогда я очень верил в Бога, в бессмертие души, и вид изрезанного человеческого тела оскорблял меня. Не выдержал я больничной обстановки» [27. С. 37].

² Ср. описание «волосатого» героя романа «Чураевы» учителя Мальчевского, декларирующего свой «уход» «из рода человеческого в звериное сословие, так сказать, по собственному приговору» [55. С. 124]. О «лохматости» дьявола, к парадигмальной фигуре которого восходят подобные «лохматые» inferнальные персонажи, см., например: [64. С. 75].

³ Ср. кривизну Егоркиного брата Миколки, постоянно преследующего главного героя. Впрочем, косящие глаза не обязательно окрашены в «Егоркиной жизни» в негативные тона. Так, помощник провизора Рафаил Маркович «очень понравился Егорке <...> просто потому, что сразу показался он ему хорошим, а главное, красивы были у него глаза, чуть с прикосью, красивы той же самой грустью, какая была у Егоркиной матери, когда она пела “задумные” песни» (6, 247).

век в больнице. Низенький, сухой и прыщеватый, с прямыми космами, падающими на глаза, он ходит, склонивши голову, и смотрит на людей не прямо, а как-то сбоку и сквозь космы черных волос» (6, 259)¹.

Мотивная переключка с эпизодами издевательств Виктора над центральным персонажем содержится в одном из описаний жалкого внешнего вида маленького Егорки, другие примеры которого приводились выше: «<...> рубашка у него всегда разорвана на животе, запачкана потеками от арбуза или дыни, так что мухи постоянно его одолевали» (6, 93). Этот фрагмент содержит слишком богатую мифопоэтическую семантику, чтобы можно было ее проигнорировать: как известно, в христианской традиции, релевантность которой для обсуждаемой книги кажется бесспорной, за мухой закреплено значение «носительницы зла, моровой язвы, греха <...>» [66. С. 188]. Мухи, «одолевающие» героя в детстве, в этой перспективе отчетливо рифмуются с зооморфным искусителем юного Егорки – «виеподобным» Виктором. Ср., кроме того, тоpos житий преподобных – «добровольное самоистязание святого, подставляющего свое тело на съедение комарам» [48. С. 434]. Здесь, в процессе «светской» рецепции этого житийного топоса, происходит его очевидная трансформация: «добровольность самоистязания» сменяется невольными мучениями.

Проанализированный мотивный комплекс актуализирует, с одной стороны, типичную для жития-мартирия коллизию сознательно осуществляющего принцип *imitatio Christi* и, следовательно, принимающего страсти Христовы мученика и его мучителя, с другой – тоpos искушения бесами святого в преподобническом житии.

Аскетизм заглавного героя гребенщиковской книги реализуется и в любовной линии: при описании первой любви Егорки обильно используется романтическая топка, подчеркивающая литературно окрашенную в сознании героя «святость» любовного переживания. Плоть для него по-прежнему одухотворена:

<...> он как-то сразу был поднят на самую вершину обожания и сразу вырос, и сразу затих, и сразу понял нечто более трагическое, нежели страх когда-либо потерять это счастье. Он просто сразу, тут же, без раздумий, в одну минуту убедил себя, что он никогда не должен прикасаться к ней, потому что он ее не стоит... (6, 290).

Однако вполне «земная» Аннушка вскоре вышла замуж «за серьезного, за взрослого... За настоящего мужчину... За станového пристава...» (6, 291). Егор же, увозящий «с собой запах ее платья, запах ее волос», в своем гипотетическом разговоре с Богом, моделируемом рассказчиком, сможет, по

¹ Подобно гоголевскому Вию, вероятному источнику этого образа, Виктор не способен видеть, не осуществив предварительно специальную «техническую» операцию «прозрения»: «То одною, то другою рукою он все время подбрасывает волосы назад, а они тотчас же падают» (6, 259). Ср. требование Вия: «Подымите мне веки: не вижу!» [65. С. 217]. В обоих случаях антагонист стремится погубить главного героя либо физически – как гоголевский Вий, либо духовно – как гребенщиковский Виктор. Очевиден также контраст, возникающий между особым зрением Егорки и тоже особым, но уже коннотированным исключительно негативно (ущербным и «инфернальным») зрением Виктора.

словам последнего, оправдаться верой в Бога и тем, что «первую любовь свою не оскорбил даже помышлением!..» (6, 291).

В конечном итоге в «Егоркиной жизни» отсутствуют какие-либо признаки физической, плотской любви главного героя. Не случайно последняя глава книги носит «тургеневское»¹ название «Первая любовь». В ней чувство героя описывается как обожание идеала. Стыдливость Егорки, его аскетизм функционально соответствуют аскетизму святого и отказу последнего от брака – необходимым элементам преподобнического жития.

В своей итоговой книге Гребенщиков с помощью синтеза жанровых компонентов автобиографической повести и автоагиографии создал произведение, жанр которого точнее всего было бы определить как житийная автобиография. «Егоркина жизнь», построенная по агиографическим лекалам и отчасти опирающаяся на литературные образцы (А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский), может быть с полным основанием прочитана как попытка дискурсивной самосакрализации. Согласно пронизательному наблюдению Е.Р. Пономарева, «общей тенденцией второй половины 1920-х – первой половины 1930-х становится осовременивание религиозной проблематики, связанное с прагматической направленностью теософских поисков эмиграции <...>» [67. С. 95], не чуждых (вновь напомним) Гребенщикову с его увлечением рерихианством. «Популярный жанр – “новое житие” – приобретает ряд беллетристических черт. “Житийное” и “литературное” смешиваются» [67. С. 95]. «Егоркина жизнь» Гребенщикова отчетливо вписывается в этот контекст, тем более что к моменту написания этой книги ее автор уже имел опыт соединения житийного и литературного начал. Агиобиография «Радонега», носящая подзаголовок «Сказание о неугасимом свете и о радужном знамени жития Преподобного Сергия Радонежского»², была написана Гребенщиковым в 1930-е гг., т.е. именно в то десятилетие, на которое пришлось «волна биографий русских деятелей искусств (преимущественно писателей)», получивших «яркую житийную окраску» [67. С. 95, 96]. С 1930-х по 1950-е гг. Гребенщиков прошел путь от *агиобиографа* в «Радонеге» до *автоагиобиографа* в «Егоркиной жизни», что соответствует об-

¹ Известно, что Гребенщиков относился к Тургеневу с большим пиететом, отводя ему одно из главных мест в собственной версии русского литературного канона. Например, в одном из писем он аттестовал его, Л.Н. Толстого и М. Горького как «три великие ступени Русской Литературы» (4, 478–479).

² В начале книги Гребенщиков, не чуждый практики произвольной этимологизации, разъясняет читателю, что «Радонега как слово происходит от древних русских понятий, столь созвучных и даже дополняющих одно другое слов <...>», – «Радунница», «Радуга» и «Радость» [68. С. 181–182]. Любопытно, что эта книга, как и «Егоркина жизнь», открывается стихотворной частью («Вместо посвящения»), состоящей из гребенщиковского стихотворения «Гонец» (с самого начала связывающего «Радонегу» с еще одной важнейшей книгой Гребенщикова «Гонец. Письма с Помпеяга»).

щей динамике жанра житийной (авто)биографии в культуре русской диаспоры¹. После Второй мировой войны этот еще недавно популярный жанр (в полном соответствии с тыняновской моделью литературной эволюции) «затухает», а в оставшихся образцах (таких, например, как романы-биографии Б.К. Зайцева «Жуковский» 1951 г. и «Чехов» 1954 г.), по словам Е.Р. Пономарева, «направленность текста на жизнь биографа становится <...> основной чертой» [67. С. 107–109].

Слой мессианских и провиденциальных мотивов, связанных с судьбой Егорки, явственно соотносился с размышлениями Гребенщикова об особом предназначении русской эмиграции и участии писателя-изгоя внутри нее, регулярно звучавшими в его публицистике и эпистолярной эмигрантского периода. В «Егоркиной жизни» Гребенщиков создает фигуру выходца из народа, с самого рождения предназначенного к особой миссии, и с его помощью окончательно оформляет доведенный до логического предела нарратив о писателе «из народа», преодолевающего на своем пути все множественные и разнообразные трудности и приобщающегося к «свету» культуры и – более конкретно – к литературе, которая стала одним из ключевых для русской культуры Нового времени феноменов «небожественного сакрального»².

Список источников

1. *Рейтблат А.И.* Биографируемый и его биограф (к постановке проблемы) // Рейтблат А.И. Писать поперек: Статьи по биографике, социологии и истории литературы. М. : Новое литературное обозрение, 2014. С. 179–188.
2. *Черняева Т.Г.* Творчество Г.Д. Гребенщикова: сибирский период: учебное пособие. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2007. 47 с.
3. *Толстоноженко О.А.* Провинциальный интеллигент в столице: рефлексия травмы в раннем творчестве Г.Д. Гребенщикова // Алтайский текст в русской культуре : сб. ст. / под. ред. М.П. Гребневой. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2015. Вып. 6. С. 342–357.

¹ В этом отношении кажется не вполне справедливым вывод, который делает А.М. Грачева в обстоятельной статье, посвященной анализу повести Ремизова как опыта «авангардной агнографии»: «<...> можно сделать вывод, что <...> Ремизов <...> написал авангардное произведение, необычное и новаторское по жанру. Только очень условно его допустимо назвать “повестью”. Писатель воспользовался агнографическим жанровым канонем, соединив в своем тексте черты, присущие поджанрам мартирия и похвального жития. Сюжетная схема, способы изображения героини, целеполагающая дидактическая задача повествования – все эти составляющие поэтики житий были применены им для создания идеального образа Серафимы Павловны – праведницы и мученицы» [69. С. 216]. К 1952 г., когда американское Издательство имени Чехова опубликовало ремизовский роман «В розовом блеске» (и даже в более раннее время, когда создавалось произведение «В розовом блеске: Из Пролога»), предпринятая Ремизовым попытка синтеза секулярного художественного и агнографического дискурсов уже трудно назвать «необычным и новаторским по жанру», особенно в богатом на подобные сочинения литературном контексте первой волны русской эмиграции, важной частью которого был писатель.

² Мы опираемся здесь на предложенное С.Н. Зенкиным понимание небожественного сакрального как «тех концепций и художественных выражений сакрального, которые возникают вне церковно-теологической мысли и вне представлений о лично определенном божестве и об отношениях человека с ним» [70. С. 14].

4. Горбенко А.Ю. Жизнестроительство Г.Д. Гребенщикова: генезис, механизмы, семантика, контекст : дис. ... канд. филол. наук. Красноярск, 2016. 206 с.
5. Росов В. «Исповедь царя» длиной в целый век: Из переписки Г.Д. Гребенщикова и И.И. Сикорского // Алтай. 2018. № 4. С. 157–185.
6. Масяйкина Е.В. Литературное наследие сибирского областничества: на материале архивов Г.Н. Потанина и Г.Д. Гребенщикова : дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2020. 196 с.
7. ГМИЛИКА. Фонд Г.Д. Гребенщикова.
8. Трибунский П.А. Ликвидация «Издательства имени Чехова», Христианский союз молодых людей и «Товарищество объединенных издателей» // Ежегодник Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына. 2014. № 5. С. 646–715.
9. Гребенщиков Г.Д. Автобиографическая повесть / предисл., примеч. Т.Г. Черняевой. Барнаул: [Б. и.], 2004. 320 с.
10. Черняева Т.Г. «Егоркина жизнь» Г.Д. Гребенщикова: опыт реконструкции замысла // Вестник Томского государственного педагогического университета (TSPU Bulletin). 2007. Вып. 8 (71). С. 85–91.
11. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Собрание сочинений : в 7 т. Т. 3 : Теория романа (1930–1961 гг.) / под ред. С.Г. Бочарова, В.В. Кожина. М., 2012. С. 340–512.
12. Полякова Т.А. Автобиографическая повесть Г.Д. Гребенщикова «Егоркина жизнь»: от реального факта к художественному вымыслу // Филологос. 2009. № 1–2 (5). С. 195–204.
13. Полякова Т.А. Путь духовного возрастания автобиографического героя в повести Г.Д. Гребенщикова «Егоркина жизнь» // Вестник Тамбовского государственного университета. Гуманитарные науки. Филология. 2010. Вып. 10 (90). С. 132–136.
14. Ковалев О.А. Поздний автофикшн Г.Д. Гребенщикова: нарративные стратегии в повести «Егоркина жизнь» // Филология и человек. 2022. № 3. С. 142–150.
15. Гребенщиков Г.Д. Собрание сочинений : в 6 т. / сост., подгот. текста, вступ. ст. Т.Г. Черняевой. Барнаул : Издательский Дом «Барнаул», 2013.
16. Георгий Гребенщиков. Из эпистолярного наследия (1924–1957) / сост. В.К. Корниенко. Барнаул : ГМИЛИКА : ОАО «Алтайский Дом Печати», 2008. 172 с.
17. ГМИЛИКА. ОФ.
18. Шмид В. Нарратология. 2-е изд., испр. и доп. М. : Языки славянской культуры, 2008. 304 с.
19. Добренко Е. Музей революции: советское кино и сталинский исторический нарратив. М. : Новое литературное обозрение, 2008. 424 с.
20. Рейтблат А.И. Русская литература как социальный институт // Рейтблат А.И. Писать поперек: Статьи по биографике, социологии и истории литературы. М., 2014. С. 11–32.
21. Barratt A. Maksim Gorky's Autobiographical Trilogy: The Lure of Myth and the Power of Fact // Journal of the Australian Universities Language and Literature Association: A Journal of Literary, Language, and Cultural Studies. 1993. № 80. P. 57–79.
22. Эйхенбаум Б.М. Писательский облик М. Горького // Эйхенбаум Б.М. Мой временник. Маршрут в бессмертие. М. : Аграф, 2001. С. 112–118.
23. Примочкина Н. «Первым своим учителем считаю М. Горького»: (М. Горький и Георгий Гребенщиков: к истории литературных отношений) // Новое литературное обозрение. 2001. № 48. С. 146–156.
24. Примочкина Н.Н. «В небрежном отношении – не повинен» (Г. Гребенщиков) // Примочкина Н.Н. Горький и писатели русского зарубежья. М., 2003. С. 137–150.
25. Суматохина Л.В. М. Горький и писатели Сибири. М. : ИНФРА-М, 2013. 237 с.
26. Богданов К.А. О крокодилах в России: Очерки из истории заимствований и экзотизмов. М. : Новое литературное обозрение, 2006. 352 с.

27. Гребенщиков Г.Д. Письма (1907–1917). Кн. 2 / сост., авт. предисл., примеч. (при участии В.К. Корниенко и К.В. Анисимова), указателя имен, Хроники жизни и творчества Т.Г. Черняева. Бийск : Бия, 2010. 200 с.

28. Горький М. О русском крестьянстве. Берлин : Издательство И.П. Ладыжникова, 1922. 45 с.

29. Фицпатрик Ш. Срывайте маски!: Идентичность и самозванство в России XX века / пер. с англ. Л.Ю. Пантиной. М. : РОССПЭН, 2011. 375 с.

30. Плюханова М.Б. К проблеме генезиса литературной биографии // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 683: Литература и публицистика. Проблемы взаимодействия. Тарту, 1986. С. 122–133.

31. Плюханова М.Б. О национальных средствах самоопределения личности: самосакрализация, самосожжение, плавание на корабле // Из истории русской культуры. Т. 3: XVII – начало XVIII века. 2-е изд. М. : Языки русской культуры, 2000. С. 380–459.

32. Сочива Т. Становление индивидуального самосознания в русской литературе накануне Нового времени (на основе изучения «Книги толкований и нравочений» протопопа Аввакума) // Вера и личность в меняющемся обществе: Автобиографика и православие в России конца XVII – начала XX века : сб. ст. / под ред. Л. Манчестер, Д.А. Сдвижкова. М., 2019. С. 20–28.

33. Гребенщиков Г.Д. Моя Сибирь. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2002. 214 с.

34. Азадовский М.К. Поэтика «гиблого места»: (Из истории сибирского пейзажа в русской литературе) // Азадовский М.К. Статьи о литературе и фольклоре. М. ; Л., 1960. С. 503–543.

35. Holl B. T. Avvakum and the Genesis of Siberian Literature // Between Heaven and Hell. The Myth of Siberia in Russian Culture / ed. by G. Diment, Y. Slezkine. New York : St. Martin's Press, 1993. P. 33–45.

36. Wachtel A. B. The Battle for Childhood: Creation of a Russian Myth. Stanford : Stanford University Press, 1990. 262 p.

37. Ссорин-Чайков Н. Топография счастья, новый диффузионизм и этнографические карты модерна // Топография счастья: этнографические карты модерна : сб. ст. / сост. Н. Ссорин-Чайков. М., 2013. С. 11–37.

38. И.А. Бунин и Г.Д. Гребенщиков: Переписка / вступ. ст., публ. и примеч. В.А. Рова // С двух берегов: Русская литература XX в. в России и за рубежом / под ред. Р. Дэвис, В.А. Келдыш. М., 2002. С. 220–276.

39. Паперно И. «Кто, что я?»: Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах / пер. с англ. М. : Новое литературное обозрение, 2018. 232 с.

40. Зорин А. Жизнь Льва Толстого: опыт прочтения / пер. с англ. М. : Новое литературное обозрение, 2020. 248 с.

41. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений : в 90 т. М. : ГИХЛ, 1928–1958.

42. Казаркин А.П. Сибирская областная эпопея // Сибирский текст в русской культуре. Томск : Изд-во Том. гос. ун-та, 2002. С. 63–77.

43. Анисимов К.В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX века: Особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. 304 с.

44. Бэзби Л. Первые слова: о предисловиях Ф.М. Достоевского / пер. с англ. Е. Цыпина. СПб. : Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2020. 272 с.

45. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. Л. : Наука, 1972–1990.

46. Ветловская В.Е. Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». СПб. : Пушкинский Дом, 2007. 640 с.

47. Руди Т.Р. Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиография: Исследования. Публикации. Полемика / под ред. С.А. Семячко, Т.Р. Руди. СПб., 2005. С. 59–101.

48. Руди Т.Р. О композиции и топике житий преподобных // Труды отдела древнерусской литературы. 2006. Т. 57. С. 431–500.

49. *Житие* Сергия Радонежского / подгот. текста Д.М. Буланина; пер. М.Ф. Антоновой и Д.М. Буланина; коммент. Д.М. Буланина // Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Поньрко. Т. 6: XIV – середина XV века. СПб., 1999. С. 254–411.
50. *Грачева Е.Н.* Представления о детстве поэта на материале жизнеописаний конца XVIII – начала XIX вв. // Лотмановский сборник. Т. 1 / ред.-сост. Е.В. Пермяков. М., 1995. С. 323–333.
51. *Лотман Ю.М.* Литература в контексте русской культуры XVIII века // О русской литературе. СПб., 1997. С. 118–167.
52. *Горбенко А.Ю.* «Наследник по прямой»: механизмы и функции литературной автоканонизации Г.Д. Гребенщикова // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2022. № 76. С. 282–305.
53. *Ранчин А.М.* Автобиографические повествования в русской литературе XVI–XVII вв. (*Повесть* Мартирия Зеленецкого, *Записка* Елеазара Анзерского, *Жития* Аввакума и Епифания): проблема жанра // Ранчин А.М. Вертоград Златословный: Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. М., 2007. С. 233–247.
54. *Потанин Г.Н.* Воспоминания // Литературное наследство Сибири. Т. 6. Новосибирск, 1983. 336 с.
55. *Гребенщиков Г.Д.* Чураевы: Братья Чураевы: роман в трех частях. Спуск в долину: роман. Барнаул: [Б.и.], 2006. 384 с.
56. *Федотов Г.П.* Святые Древней Руси // Собр. соч. : в 12 т. Т. 8: Святые Древней Руси / сост., примеч. С.С. Бычков. М. : Мартис, 2000. 268 с.
57. *Горбенко А.Ю.* К механизмам жизнестроительства Георгия Гребенщикова: Чураевка как реплика скита Сергия Радонежского // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 4 (64), т. 3. С. 193–197.
58. *Десятов В.В.* Скит искусств: жизнестроительство Георгия Гребенщикова // Сибирский филологический журнал. 2018. № 1. С. 5–18.
59. *Баак Й. ван* О поэтике первых переживаний // *Analysieren als Deuten*. Wolf Schmid zum 60 / ed. by L. Lazar Fleishman, Christine Gözl, Aage A. Hansen-Löve. Geburtstag. Hamburg : Hamburg University Press, 2004. S. 259–276.
60. *Ремизов А.М.* Собрание сочинений. Т. 8: Подстриженными глазами. Иверень / ред. кол.: А.М. Грачева (гл. ред.), Т.Г. Иванова, А.В. Лавров, Н.Н. Скатов, О.П. Раевская-Хьюз, Н.М. Солнцева. М. : Русская книга, 2000. 704 с.
61. *Лотман Ю.М.* О понятии пространства в русских средневековых текстах // Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб., 1997. С. 112–117.
62. *Климова М.Н.* От протопопа Аввакума до Федора Абрамова: Жития «грешных святых» в русской литературе. М. : Индрик, 2010. 136 с.
63. *Ранчин А.М.* «Дети дьявола»: убийцы страстотерпца // Ранчин А.М. Вертоград Златословный: Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. М., 2007. С. 121–127.
64. *Махов А.Е.* Сад демонов – Hortus daemonum: Словарь inferнальной мифологии Средневековья и Возрождения. М. : INTRADA, 1998. 320 с.
65. *Гоголь Н.В.* Вий // Полн. собр. соч. / гл. ред. Н.Л. Мещеряков; ред. изд. В.В. Гиппиус, В.А. Десницкий, В.Я. Кирпотин и др. Т. 2: Миргород / ред. В.В. Гиппиус. М. : Изд-во АН СССР, 1937. С. 175–218.
66. *Топоров В.Н.* Муха // Мифы народов мира : энцикл. : в 2 т. / гл. ред. С.А. Токарев. М. : Рос. энцикл., 1994. Т. 2. С. 188.
67. *Пономарев Е.* Россия, растворенная в вечности: Жанр житийной биографии в литературе русской эмиграции // Вопросы литературы. 2004. № 1. С. 84–111.
68. *Гребенщиков Г.Д.* Чураевы: Лобзание змия : роман. Радонега. Статьи. Воспоминания. Барнаул: [Б.и.], 2007. 352 с.

69. Грачева А.М. Опыт авангардной агиографии: повесть А.М. Ремизова «В розовом блеске: Из Пролога» // Русская литература. 2023. № 3. С. 210–217.

70. Зенкин С.Н. Небожественное сакральное: Теория и художественная практика. М. : РГГУ, 2012. 537 с.

References

1. Reitblat, A.I. (2014) Biografiruemyi i ego biograf (k postanovke problemy) [The Biographee and His Biographer (On the Problem Statement)]. In: Reitblat, A.I. *Pisat poperek: Stat'i po biografike, sotsiologii i istorii literatury* [Writing Across: Articles on Biography, Sociology, and Literary History]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. pp. 179–188.

2. Chernyaeva, T.G. (2007) *Tvorchestvo G.D. Grebenshchikova: sibirskii period: uchebnoe posobie* [The Works of G.D. Grebenshchikov: The Siberian Period: A Study Guide]. Barnaul: Altai State University.

3. Tolstonozhenko, O.A. (2015) Provintsial'nyi intelligenet v stolitse: refleksiya travmy v rannem tvorchestve G.D. Grebenshchikova [A Provincial Intellectual in the Capital: Trauma Reflection in the Early Works of G.D. Grebenshchikov]. In: Grebneva, M.P. (ed.) *Altayskii tekst v russkoi kul'ture* [The Altai Text in Russian Culture]. Vol. 6. Barnaul: Altai State University. pp. 342–357.

4. Gorbenco, A.Yu. (2016) *Zhiznestroitel'stvo G.D. Grebenshchikova: genesis, mekhanizmy, semantika, kontekst* [The Life-Building of G.D. Grebenshchikov: Genesis, Mechanisms, Semantics, Context]. Philology Cand. Diss. Krasnoyarsk.

5. Rosov, V. (2018) "Ispoved' tsarya" dlinoy v tselyi vek: Iz perepiski G.D. Grebenshchikova i I.I. Sikorskogo ["The Confession of a Tsar" a Whole Century Long: From the Correspondence of G.D. Grebenshchikov and I.I. Sikorsky]. *Altay*. 4. pp. 157–185.

6. Masyakina, E.V. (2020) *Literaturnoe nasledstvo sibirskogo oblastnichestva: na materiale arkhivov G.N. Potanina i G.D. Grebenshchikova* [The Literary Heritage of Siberian Regionalism: Based on the Archives of G.N. Potanin and G.D. Grebenshchikov]. Philology Cand. Diss. Tomsk.

7. State Museum of the History of Literature, Art and Culture of Altai (GMILIKA). *Fond G.D. Grebenshchikova* [Grebenshchikov's Collection].

8. Tribunskii, P.A. (2014) Likvidatsiya "Izdatel'stva imeni Chekhova," Khristianskii soyuz molodykh lyudei i "Tovarishchestvo ob"edinennykh izdatelei" [The Liquidation of "Chekhov Publishing House," the YMCA, and the "United Publishers Partnership"]. *Ezhгодnik Doma russkogo zarubezh'ya im. Aleksandra Solzhenitsyna*. 5. pp. 646–715.

9. Grebenshchikov, G.D. (2004) *Avtobiograficheskaya povest'* [Autobiographical Tale]. Barnaul: [s.m.].

10. Chernyaeva, T.G. (2007) "Egorkina zhizn'" G.D. Grebenshchikova: opyt rekonstruktsii zamysla [G.D. Grebenshchikov's "Egorka's Life": An Attempt at Reconstructing the Concept]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin*. 8 (71). pp. 85–91.

11. Bakhtin, M.M. (2012) Formy vremeni i khronotopa v romane [Forms of Time and Chronotope in the Novel]. In: Bocharov, S.G. & Kozhinov, V.V. (eds) *Sobranie sochinenii* [Collected Works]. Vol. 3. Moscow. pp. 340–512.

12. Polyakova, T.A. (2009) Avtobiograficheskaya povest' G.D. Grebenshchikova "Egorkina zhizn'": ot real'nogo fakta k khudozhestvennomu vymyslu [G.D. Grebenshchikov's Autobiographical Tale "Egorka's Life": From Fact to Fiction]. *Filologos*. 1–2 (5). pp. 195–204.

13. Polyakova, T.A. (2010) Put' dukhovnogo vozrastaniya avtobiograficheskogo geroya v povesti G.D. Grebenshchikova "Egorkina zhizn'" [The Path of Spiritual Growth of the Autobiographical Hero in G.D. Grebenshchikov's Tale "Egorka's Life"]. *Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye nauki. Filologiya*. 10 (90). pp. 132–136.

14. Kovalev, O.A. (2022) Pozdnii avtofiks G.D. Grebenshchikova: narrativnye strategii v povesti "Egorkina zhizn'" [G.D. Grebenshchikov's Late Autofiction: Narrative Strategies in the Tale "Egorka's Life"]. *Filologiya i chelovek*. 3. pp. 142–150.
15. Grebenshchikov, G.D. (2013) *Sobranie sochinenii* [Collected Works]. 1–6. Barnaul: Izdatel'skii Dom "Barnaul."
16. Kornienko, V.K. (ed.) (2008) *Georgii Grebenshchikov. Iz epistolyarnogo naslediya (1924–1957)* [Georgii Grebenshchikov: From His Epistolary Legacy (1924–1957)]. Barnaul: GMILIKA: OAO "Altayskii Dom Pechati."
17. State Museum of the History of Literature, Art and Culture of Altai (GMILIKA). *OF*.
18. Shmid, V. (2008) *Narratologiya* [Narratology]. 2nd ed. Moscow: Yazyki slavyanskoi kul'tury.
19. Dobrenko, E. (2008) *Muzei revolyutsii: sovetskoe kino i stalinskii istoricheskii narrativ* [Museum of Revolution: Soviet Cinema and Stalinist Historical Narrative]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
20. Reitblat, A.I. (2014) Russkaya literatura kak sotsial'nyi institut [Russian Literature as a Social Institution]. In: Reitblat, A.I. *Pisat poperek: Stat'i po biografike, sotsiologii i istorii literatury* [Writing Across: Articles on Biography, Sociology, and Literary History]. Moscow. pp. 11–32.
21. Barratt, A. (1993) Maksim Gorky's Autobiographical Trilogy: The Lure of Myth and the Power of Fact. *Journal of the Australian Universities Language and Literature Association: A Journal of Literary, Language, and Cultural Studies*. 80. pp. 57–79.
22. Eikhenbaum, B.M. (2001) Pisatel'skii oblik M. Gor'kogo [The Writer's Image of M. Gorky]. In: Eikhenbaum, B.M. *Moi vremennik. Marshir v bessmertie* [My Chronicle: A Route to Immortality]. Moscow: Agraf. pp. 112–118.
23. Primochkina, N. (2001) "Pervym svoim uchitelem schitayu M. Gor'kogo": (M. Gor'kii i Georgii Grebenshchikov: k istorii literaturnykh otnoshenii) ["I Consider M. Gorky My First Teacher": (M. Gorky and Georgii Grebenshchikov: On the History of Their Literary Relationship)]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 48. pp. 146–156.
24. Primochkina, N.N. (2003) "V nebrezhnom otnoshenii – ne povinen" (G. Grebenshchikov) ["Not Guilty of Neglect" (G. Grebenshchikov)]. In: Primochkina, N.N. *Gor'kii i pisateli russkogo zarubezh'ya* [Gorky and Writers of the Russian Diaspora]. Moscow. pp. 137–150.
25. Sumatokhina, L.V. (2013) *M. Gor'kii i pisateli Sibiri* [M. Gorky and Siberian Writers]. Moscow: INFRA-M.
26. Bogdanov, K.A. (2006) *O krokodilakh v Rossii: Ocherki iz istorii zaimstvovaniia i ekzotizmov* [On Crocodiles in Russia: Essays on the History of Borrowings and Exoticisms]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
27. Grebenshchikov, G.D. (2010) *Pis'ma (1907–1917)* [Letters (1907–1917)]. Vol. 2. Biysk: Biya.
28. Gorky, M. (1922) *O russkom krestianstve* [On the Russian Peasantry]. Berlin: Izd-vo I.P. Ladyzhnikova.
29. Fitzpatrick, S. (2011) *Sryvaite maski!: Identichnost' i samozvanstvo v Rossii XX veka* [Tear Off the Masks!: Identity and Imposture in 20th-Century Russia]. Translated by L.Yu. Pantina. Moscow: ROSSPEN.
30. Plyukhanova, M.B. (1986) K probleme genezisa literaturnoi biografii [On the Problem of the Genesis of Literary Biography]. *Uchenye zapiski Tartuskogo gosudarstvennogo universiteta*. 683. pp. 122–133.
31. Plyukhanova, M.B. (2000) O natsional'nykh sredstvakh samoopredeleniya lichnosti: samosakralizatsiya, samosozhzhenie, plavanie na korable [On National Means of Self-Determination: Self-Sacralization, Self-Immolation, and Ship Voyages]. In: *Iz istorii russkoi kul'tury* [From the history of Russian culture]. Vol. 3. 2nd ed. Moscow: Yazyki russkoi kul'tury. pp. 380–459.

32. Sochiva, T. (2019) Stanovlenie individual'nogo samosoznaniya v russkoi literature nakanune Novogo vremeni (na osnove izucheniya "Knigi tolkovanii i nravouchenii" protopopa Avvakuma) [The Formation of Individual Self-Consciousness in Russian Literature on the Eve of the Modern Era (Based on Archpriest Avvakum's "Book of Interpretations and Moral Teachings")]. In: Manchester, L. & Sdvizhkov, D.A. (eds) *Vera i lichnost' v menyayushchemsya obshchestve: Avtobiografika i pravoslavie v Rossii kontsa XVII – nachala XX veka* [Faith and Personality in a Changing Society: Autobiography and Orthodoxy in Russia from the Late 17th to Early 20th Century]. Moscow. pp. 20–28.
33. Grebenshchikov, G.D. (2002) *Moya Sibir'* [My Siberia]. Barnaul: Altai State University.
34. Azadovskii, M.K. (1960) Poetika "giblogo mesta": (Iz istorii sibirskogo peizazha v russkoi literature) [The Poetics of the "Cursed Place": (From the History of Siberian Landscape in Russian Literature)]. In: Azadovskii, M.K. *Stat'i o literature i fol'klore* [Articles on Literature and Folklore]. Moscow; Leningrad. pp. 503–543.
35. Holl, B.T. (1993) Avvakum and the Genesis of Siberian Literature. In: Diment, G. & Slezkine, Y. (eds) *Between Heaven and Hell. The Myth of Siberia in Russian Culture*. New York: St. Martin's Press. pp. 33–45.
36. Wachtel, A.B. (1990) *The Battle for Childhood: Creation of a Russian Myth*. Stanford: Stanford University Press.
37. Ssorin-Chaikov, N. (2013) Topografiya schast'ya, novyi diffuzionizm i etnograficheskie karty modern [Topography of Happiness, New Diffusionism, and Ethnographic Maps of Modernity]. In: Ssorin-Chaikov, N. (ed.) *Topografiya schast'ya: etnograficheskie karty modern* [Topography of Happiness: Ethnographic Maps of Modernity]. Moscow. pp. 11–37.
38. Rosov, V.A. (ed.) (2002) I.A. Bunin i G.D. Grebenshchikov: Perepiska [I.A. Bunin and G.D. Grebenshchikov: Correspondence]. In: Davies, R. & Keldysh, V.A. (eds) *S dvukh beregov: Russkaya literatura XX v. v Rossii i za rubezhom* [From Two Shores: 20th-Century Russian Literature in Russia and Abroad]. Moscow. pp. 220–276.
39. Paperno, I. (2018) *"Kto, chto ya?": Tolstoi v svoikh dnevnikakh, pis'makh, vospominaniyakh, traktatakh* ["Who, What Am I?": Tolstoy in His Diaries, Letters, Memoirs, and Treatises]. Translated from English. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
40. Zorin, A. (2020) *Zhizn' L'ya Tolstogo: opyt prochteniya* [The Life of Leo Tolstoy: An Attempt at Reading]. Translated from English. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
41. Tolstoy, L.N. (1928–1958) *Polnoe sobranie sochinenii* [Complete Works]. Vols 1–90. Moscow: GIKhL.
42. Kazarkin, A.P. (2002) *Sibirskaya oblastnaya epopeya* [The Siberian Regional Epic]. In *Sibirskii tekst v russkoi kul'ture* [The Siberian Text in Russian Culture]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 63–77.
43. Anisimov, K.V. (2005) *Problemy poetiki literatury Sibiri XIX – nachala XX veka: Osobennosti stanovleniya i razvitiya regional'noi literaturnoi traditsii* [Problems of the Poetics of Siberian Literature in the 19th – Early 20th Centuries: Features of Formation and Development of a Regional Literary Tradition]. Tomsk: Tomsk State University.
44. Bagby, L. (2020) *Pervye slova: o predisloviyakh F.M. Dostoevskogo* [First Words: On F.M. Dostoevsky's Prefaces]. Translated from English by E. Tsypina. St. Petersburg: Academic Studies Press / BiblioRossika.
45. Dostoevsky, F.M. (1972–1990) *Polnoe sobranie sochinenii* [Complete Works]. Vols 1–30. Leningrad: Nauka.
46. Vetlovskaya, V.E. (2007) *Roman F.M. Dostoevskogo "Brat'ya Karamazovy"* [F.M. Dostoevsky's Novel "The Brothers Karamazov"]. St. Petersburg: Pushkinskii Dom.
47. Rudi, T.R. (2005) Topika russkikh zhiti (voprosy tipologii) [The Topoi of Russian Hagiography (Typological Questions)]. In: Semyachko, S.A. & Rudi, T.R. (eds) *Russkaya agiografiya: Issledovaniya. Publikatsii. Polemika* [Russian Hagiography: Research, Publications, Polemics]. St. Petersburg. pp. 59–101.

48. Rudi, T.R. (2006) O kompozitsii i topike zhiti prepodobnykh [On the Composition and Topoi of Monastic Hagiography]. *Trudy Otdela drevnerusskoi literatury*. 57. pp. 431–500.
49. Bulanin, D.M. (ed.) (1999) *Zhitiie Sergiya Radonezhskogo* [The Life of Sergius of Radonezh]. In: Likhachev, D.S. et al. (eds) *Biblioteka literatury Drevnei Rusi* [Library of Old Russian Literature]. Vol. 6. St. Petersburg. pp. 254–411.
50. Gracheva, E.N. (1995) Predstavleniya o detstve poeta na materiale zhizneopisaniy kontsa XVIII – nachala XIX vv. [Conceptions of the Poet's Childhood Based on Late 18th – Early 19th-Century Biographies]. In: Permyakov, E.V. (ed.) *Lotmanovskii sbornik* [Lotman Collection]. Vol. 1. Moscow. pp. 323–333.
51. Lotman, Yu.M. (1997) Literatura v kontekste russkoi kul'tury XVIII veka [Literature in the Context of 18th-Century Russian Culture]. In: Lotman, Yu.M. *O russkoi literature* [On Russian Literature]. St. Petersburg. pp. 118–167.
52. Gorbenko, A.Yu. (2022) "The Heir in a Straight Line": Mechanisms and functions of George Grebenshchikov's literary self-canonization. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 76. pp. 282–305. (In Russian). doi: 10.17223/19986645/76/13
53. Ranchin, A.M. (2007) Avtobiograficheskie povestvovaniya v russkoi literature XVI–XVII vv. (Povest' Martiriya Zelenetskogo, Zapiska Eleazara Anzerskogo, Zhitiya Avvakuma i Epifaniya): problema zhanra [Autobiographical Narratives in 16th–17th-Century Russian Literature (The Tale of Martiriy Zelenetsky, Eleazar Anzersky's Notes, The Lives of Avvakum and Epifaniy): The Genre Problem]. In: Ranchin, A.M. *Vertograd Zlatoslovnyi: Drevnerusskaya knizhnost' v interpretatsiyakh, razborakh i kommentariyakh* [The Golden-Worded Garden: Old Russian Literature in Interpretations, Analyses, and Commentaries]. Moscow. pp. 233–247.
54. Potanin, G.N. (1983) Vospominaniya [Memoirs]. In: *Literaturnoe nasledstvo Sibiri* [Literary Heritage of Siberia]. Vol. 6. Novosibirsk.
55. Grebenshchikov, G.D. (2006) *Churaevy: Brat'ya Churaevy: roman v trekh chastyakh. Spusk v dolinu: roman* [The Churaevs: The Churaev Brothers: A Novel in Three Parts. Descent into the Valley: A Novel]. Barnaul: [s.n.].
56. Fedotov, G.P. (2000) *Svyatye Drevnei Rusi* [Saints of Ancient Rus']. In: Bychkov, S.S. (ed.) *Sobr. soch.* [Collected Works]. Vol. 8. Moscow: Martis.
57. Gorbenko, A.Yu. (2015) K mekhanizmam zhiznestroitel'stva Georgiya Grebenshchikova: Churaevka kak replika skita Sergiya Radonezhskogo [On the Mechanisms of Georgii Grebenshchikov's Life-Building: Churaevka as a Replica of Sergius of Radonezh's Hermitage]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta*. 4 (64):3. pp. 193–197.
58. Desyatov, V.V. (2018) Skit iskusstv: zhiznestroitel'stvo Georgiya Grebenshchikova [The Hermitage of Arts: Georgii Grebenshchikov's Life-Building]. *Sibirskii filologicheskii zhurnal*. 1. pp. 5–18.
59. Baak, J. van. (2004) O poetike pervykh perezhivaniy [On the Poetics of First Experiences]. In: Lazar Fleishman, L., Gölz, C & Hansen-Löve, A.A. (eds) *Analysieren als Deuten. Wolf Schmid zum 60.* Hamburg: Hamburg University Press. pp. 259–276.
60. Remizov, A.M. (2000) Podstrizhennymi glazami. Iveren' [With Clipped Eyes. Iveren']. In: Gracheva, A.M. et al. (eds) *Sobranie sochinenii* [Collected Works]. Vol. 8. Moscow: Russkaya kniga.
61. Lotman, Yu.M. (1997) O ponyatii prostranstva v russkikh srednevekovykh tekstakh [On the Concept of Space in Medieval Russian Texts]. In: Lotman, Yu.M. *O russkoi literature* [On Russian Literature]. St. Petersburg. pp. 112–117.
62. Klimova, M.N. (2010) *Ot protopopa Avvakuma do Fedora Abramova: Zhitiya "greshnykh svyatyykh" v russkoi literature* [From Archpriest Avvakum to Fyodor Abramov: Lives of "Sinful Saints" in Russian Literature]. Moscow: Indrik.
63. Ranchin, A.M. (2007) "Deti d'yavola": ubiitsy strastoterptsy ["Children of the Devil": The Murderers of the Passion-Bearer]. In: Ranchin, A.M. *Vertograd Zlatoslovnyi:*

Drevnerusskaya knizhnost' v interpretatsiyakh, razborakh i kommentariyakh [The Golden-Worded Garden: Old Russian Literature in Interpretations, Analyses, and Commentaries]. Moscow. pp. 121–127.

64. Makhov, A.E. (1998) *Sad demonov – Hortus daemonum: Slovar' infernal'noi mifologii Srednevekov'ya i Vozrozhdeniya* [Garden of Demons – Hortus daemonum: A Dictionary of Infernal Mythology of the Middle Ages and Renaissance]. Moscow: INTRADA.

65. Gogol, N.V. (1937) *Viy*. In: Gippius, V.V. (ed.) *Poln. sobr. soch.* [Complete Works]. Vol. 2. Moscow: USSR AS. pp. 175–218.

66. Toporov, V.N. (1994) *Mukha* [The Fly]. In: Tokarev, S.A. (ed.) *Mify narodov mira* [Myths of the Peoples of the World]. Vol. 2. Moscow: Ros. entsikl. p. 188.

67. Ponomarev, E. (2004) *Rossiya, rastvorennaya v vechnosti: Zhanr zhitiinoi biografii v literature russkoi emigratsii* [Russia Dissolved in Eternity: The Genre of Hagiographic Biography in Russian Émigré Literature]. *Voprosy literatury*. 1. pp. 84–111.

68. Grebenshchikov, G.D. (2007) *Churaevy: Lobzanie zmiya: roman. Radonega. Stat'i. Vospominaniya* [The Churaevs: The Serpent's Kiss: A Novel. Radonega. Articles. Memoirs]. Barnaul: [s.n.].

69. Gracheva, A.M. (2023) *Opyt avangardnoi agiografii: povest' A.M. Remizova "V rozovom bleske: Iz Próloga"* [An Experiment in Avant-Garde Hagiography: A.M. Remizov's Tale "In Pink Radiance: From the Prologue"]. *Russkaya literatura*. 3. pp. 210–217.

70. Zenkin, S.N. (2012) *Nebozhestvennoe sakral'noe: Teoriya i khudozhestvennaya praktika* [The Non-Divine Sacred: Theory and Artistic Practice]. Moscow: RSUH.

Информация об авторе:

Горбенко А.Ю. – канд. филол. наук, доцент кафедры мировой литературы и методики ее преподавания Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева (Красноярск, Россия). E-mail: al_gorbenko@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

A.Yu. Gorbenko, Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev (Krasnoyarsk, Russian Federation). E-mail: al_gorbenko@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 18.06.2024;
одобрена после рецензирования 02.07.2024; принята к публикации 26.03.2025.*

*The article was submitted 18.06.2024;
approved after reviewing 02.07.2024; accepted for publication 26.03.2025.*